

«Переписывая» советское прошлое: о программе исследований «советского человека» Н. Н. Козловой

Тимофей Дмитриев

Кандидат философских наук, доцент Школы культурологии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: tdmitriev@hse.ru

В статье сделана попытка наметить контуры новых теоретических подходов к изучению советского прошлого на основе культурно-антропологической программы исследований «советского человека», предложенной Н. Н. Козловой (1946–2002). Наше предположение заключается в том, что в ходе осуществления этой исследовательской программы Козлова пыталась решить двойную задачу: преодолеть идеологические рамки, заданные концепцией тоталитаризма как базовой модели понимания советского общества, с одной стороны, и понять советское общество как непреднамеренное социальное изобретение, с другой. В рамках модели советского общества как непреднамеренного социального изобретения классические социально-теоретические концепции вступают в сложный теоретический симбиоз с постклассическими социальными теориями Н. Элиаса, М. Фуко, М. де Серто и П. Бурдьё. Целью такой стратегии исследования является поиск адекватных мыслительных моделей и общей теоретической рамки понимания взаимоотношений между индивидом и обществом. Характеристика советского общества как социального изобретения подразумевает, что в процессе совместной жизни людей благодаря взаимодействию между ними возникает функциональная сеть взаимозависимых индивидов. Эта функциональная сеть, в свою очередь, движется в определенном направлении и обладает своими собственными закономерностями, которые — в качестве специфических закономерностей отношений между отдельными людьми — никто конкретно не определяет. Базовой моделью для осмысления такой функциональной сети взаимозависимых индивидов выступает не модель системы, но модель общей игры и лежащей в ее основе социальной грамматики. Особое внимание в статье уделяется оценке эвристического потенциала гипотезы Козловой о советской цивилизации как особом типе общества модерна и ее значению для исследований советского общества и культуры.

Ключевые слова: теоретические рамки изучения «советского», советское общество, советская культура, Н. Н. Козлова, культурно-антропологическое исследование, homo soveticus

В современной научно-исследовательской и публицистической литературе, посвященной советскому прошлому, широко представлены два подхода, которые можно назвать апологетическим и социально-критическим соответственно, причем последний очень часто имеет тенденцию соскальзывать на обличительный или

разоблачительный тон¹. Оба эти подхода являются теоретически неудовлетворительными, в том числе не в последнюю очередь потому, что они оказываются не в состоянии дать объяснение тем социальным процессам и изменениям, которые происходят в России и на бывшем постсоветском пространстве в последнюю четверть века. Иными словами, они не дают внятных теоретических ответов на вопросы о том, как стало возможным советское общество, как оно воспроизводило себя, за счет чего держалось и почему в конце концов перестало существовать². Однако без такого внятного теоретического видения советского прошлого невозможно адекватное понимание политических, социальных и культурных процессов, происходящих в современной России и в мире, не говоря уже о выработке практических стратегий действия. Именно поэтому сегодня, по нашему мнению, одной из главных задач изучения советского прошлого является разработка такого теоретического подхода или спектра подходов, которые открыли бы новые операциональные перспективы исследования и теоретического объяснения тех событий и процессов, которые происходили в советском обществе на протяжении его сравнительно недолгой истории (1917–1991), но которые и после ухода этого общества с исторической сцены продолжают сказываться на судьбах бывших «советских» и «постсоветских» людей, стран и народов. В статье предпринимается попытка наметить контуры таких новых теоретических подходов к исследованию советского прошлого с учетом методических рекомендаций и новаций, предложенных в свое время Н. Н. Козловой в ее работах, посвященных исследованию «советского человека»³.

Данный круг проблем попал в поле зрения Козловой еще на рубеже 1990–2000-х гг. Антропологические исследования повседневной жизни советских людей, связанные с работой в Центре документации «Народный архив», довольно рано подвели ее к кругу проблем, связанным с необходимостью внятного теоретического осмысления советского прошлого. «Советское общество — отмечала Козлова, — предпосылка того, что происходит здесь и теперь. Это, вероятно, наш единственный ресурс. К сожалению, мы действительно знаем о советском обществе непросто мало. Нет теоретической картины того, что представляли собой общественные структуры советского типа» (Козлова, 2005: 472). Проблема здесь,

1. О том, что такая постановка вопроса не является преувеличением и что она не ограничивается исключительно публикациями научно-популярного и публицистического характера, но вполне зримо и осязаемо представлена в современной исследовательской литературе, свидетельствуют, на мой взгляд, последние работы одного из ведущих немецких специалистов по истории СССР Йорга Баберовского (Баберовски, 2007, 2014).

2. В последнее время такие работы стали появляться. К их числу я отнес бы прежде всего не так давно переведенное на русский язык фундаментальное исследование позднего советского общества, принадлежащего перу Алексея Юрчака (Юрчак, 2016), в котором сделана многообещающая заявка на новую «оптику» рассмотрения советского прошлого. Правда, следует оговориться, что работа была опубликована по-английски еще в 2005 году.

3. Эти работы уже после кончины Н. Н. Козловой были собраны и опубликованы в сборнике: Козлова, 2005. Именно на тексты Козловой, опубликованные в данном сборнике, я и опираюсь в первую очередь в этой статье.

как говорил в одном из своих последних интервью П. Бурдые, на которого ссылается Козлова, заключается в том, что «этот вопрос мало изучен, потому что русские не смогли проработать его как следует», оставаясь в рамках псевдополюемических концепций типа «тоталитаризма».

Не менее четко формулировала Козлова и то, что было ставкой в ее исследованиях. Несмотря на то, что их предметом было советское прошлое, она всегда совершенно четко и определенно говорила о том, что на кону стояло российское настоящее и будущее. Как справедливо отмечает Козлова, «в данном случае речь идет именно о советском обществе в его истории. Не изменив представления о советском обществе, невозможно понять российское настоящее. Этот процесс переосмысления можно обозначить как *переписывание*» (Козлова, 2005: 471). Главное достоинство такого переосмысления представлений о советском прошлом заключается в том, что, «переписывая, мы расщепляем свое внимание и уходим от анализа того, что видится *жестким и нормальным, центральным и институциональным*». Занимаясь подобным переписыванием прошлого, мы тем самым, по словам Козловой, «начинаем уделять внимание не только официальному дискурсу, но и нарративам рядовых и не совсем грамотных людей, чему свидетельством служит и эта работа». Одним из главных теоретических открытий, обретенных на этом пути, становится понимание того, что «общество держится отнюдь не только институциональными взаимодействиями» (Козлова, 2005: 58).

Иными словами, предметом исследовательского интереса Козловой была история советского общества и советского прошлого в том виде, в каком оно нашло свое преломление в дневниках, письмах, воспоминаниях и биографических заметках простых советских людей. Все эти артефакты советской повседневной жизни и служат тем материалом, с которым она работала и на основе которых делала свои выводы и заключения.

Записки, к которым я обращаюсь, — писала Козлова, — несомненно, принадлежат к новому типу источников. Они как бы напоминают нам, что в идеале ни один из голосов, ни одна из человеческих жизней не должна быть забыта. Понятно, что реально это невозможно: в любом случае имеешь дело с фрагментами. Важен, однако, методологический принцип. Обращаясь к «фрагментам», демонстрируешь, что для тебя реальность множественна. Мозаика жизненных траекторий представляет репертуар возможностей. (Козлова, 2005: 62)⁴

С позиций сегодняшнего дня в проекте исследований «советского человека» Козловой огромный интерес представляет прежде всего то, что ей удалось превратить чтение и интерпретацию автобиографических историй жизни советских лю-

4. В то же самое время Козлова специально оговаривается, что «данный тип социального анализа не является по жанру микроанализом, то есть исследованием отношений в небольшой группе. Это способ работы, где в макродискурс об обществе включаются „голоса“ людей, его составляющих, где антропологический угол зрения, обращение к субъективной стороне социального как раз и позволяет задать ряд существенных вопросов» (Козлова, 2005: 476).

дей в скрупулезное исследование процессов сложения специфической советской идентичности, истории формирования того самого «homo soveticus», которым так долго пугали «цивилизованный мир». На этом пути Козлова сумела сделать целый ряд примечательных открытий, которые проливают новый свет как на историю взлета и падения советского общества, так и на историю появления характерных для него антропологических и социальных типов.

Как отмечала Козлова в своих текстах, посвященных социальной философии, социально-философская и социально-теоретическая мысль, пытающаяся понять настоящее через призму прошлого и прошлое через призму настоящего, должна практиковать *историческое видение социальных процессов*. Согласно этой точке зрения, общество есть исторический феномен, а история — способ существования общества. Социальная философия имеет дело с историей в двух главных состояниях: *объективированном и инкорпорированном*. В первом случае история — это «история в ее объективированном состоянии, т. е. вне человека. В результате долгого развития она воплотилась в вещах и машинах, зданиях и книгах, а также в обычаях, праве, во множестве разновидностей норм и институтов, которые служат посредниками в человеческих взаимодействиях». Во втором случае история — это «история в инкорпорированном состоянии, т. е. в самом человеке» (Козлова 2007: 458–459). Инкорпорированная история предполагает внимательное изучение практик и техник работы с телом индивида, его маркирования, клеймения и пространственного ограничения (изоляция в тюрьме, лагере, ссылке, запрете на проживание в больших городах, подписке о невыезде и т. д. — если брать жизненные примеры только из области действия дисциплинарно-карательных практик). Кроме того, «неощутимое занесение в тело структур социального порядка может осуществляться с помощью перемещения и движения тела» (Козлова, 2007: 460) в социальном пространстве, т. е. в ходе перемещения отдельных лиц в системе социальной стратификации как по вертикали в обоих направлениях, так и по горизонтали. Именно такая преломившаяся в теле человека, порою буквально на нем записанная история советского общества занимает центральное место в программе исследований «советского человека» Козловой.

В своей статье я намереваюсь сперва рассмотреть задачи, которые ставила перед собой Козлова в своих антропологических исследованиях советского общества, затем проанализировать те значимые теоретические открытия, к которым она пришла в ходе этих исследований и, наконец, в заключение кратко обрисовать перспективы, которые открываются в исследованиях советского общества как особой формы или инварианта цивилизации модерна в фокусе теоретической рамки, намеченной в работах Козловой.

Пересматривая теоретические рамки изучения «советского»

Для начала постараемся очертить общие теоретические рамки исследований «советского человека» в работах Н. Н. Козловой. Для этого следует несколько слов

сказать о тех задачах, которые, как представляется, она ставила перед собой как исследователем в рамках данного проекта. Наше исходное предположение заключается в том, что в ходе осуществления своей программы исследований «советского человека» Козлова пыталась решить задачу двоякого рода: преодолеть идеологические рамки, заданные концепцией тоталитаризма как базовой модели понимания советского общества, с одной стороны, а также, понять советское общество как особую цивилизацию и непреднамеренное социальное изобретение, с другой. Для этого, в свою очередь, ей необходимо было переосмыслить одно из базовых понятий социальной и культурной антропологии — понятие «выживания» и перейти «от понимания выживания как существования „на элементарном уровне“ к пониманию выживания как воспроизводства» (Козлова, 2005: 475).

Иными словами, программа исследований «советского человека» Н. Н. Козлова может быть охарактеризована двояко в свете тех задач, которые она ставила перед собой в рамках данного исследовательского проекта. С одной стороны, речь шла о том, что можно назвать «работой негативного» — о преодолении нормативных рамок исследований советского общества и советского человека на разных этапах их истории, заданных псевдо-полемиическими концепциями тоталитаризма. Этот подход или, если использовать понятие, идущее от Л. Витгенштейна, семейство концепций и подходов, не только представлялся Козловой совершенно неудовлетворительным для понимания советского общества, но, помимо всего прочего, служил теоретическим инструментом объяснения перехода от *тоталитаризма* к *либеральному рыночному обществу* в России в 1990-е годы и в этом качестве пользовался в ту пору большой популярностью у «прогрессивно» мыслящих российских интеллектуалов. Однако, как не уставала повторять Козлова, эта концепция не работала, поскольку не позволяла объяснять повседневные социальные практики советского общества.

Существо взглядов Н. Н. Козловой на советское общество сталинской эпохи лучше всего уясняется путем противопоставления. Еще в начале 2000-х гг. она отмечала, что «картина современного российского общества далека от идеальной либеральной модели. Тоталитарная модель советского общества также видится неудовлетворительной. Все больше становится ясно, что как апологетические, так и социально-критические (перестроечного и постперестроечного периода) концепции советского периода не имеют ничего общего с адекватным описанием советского общества. Ведь получается, что происходящее ныне либо не имеет предпосылок вообще, либо имеет в качестве таковых жесткую конструкцию, которая лишь теперь *размягчается*» (Козлова, 2005: 472).

Поэтому первое, что с точки зрения Козловой было необходимо сделать для выработки новой перспективы исследований советского общества — это уйти от идеологически предписанных рамок его видения, восприятия и оценки, заданных теорией «тоталитаризма». Подобные теоретические рамки исследования советского общества, или «сталинизма», с которым его в ту пору отождествляли, были заложены в западном академическом сообществе после Второй мировой войны в

рамках так называемой теории «тоталитаризма». Согласно этой теории, представленной в работах таких влиятельных в 1950–1960-е годы авторов, как Х. Арндт, Р. Арон, К. Фридрих, З. Бжезинский, К. Лёвенштайн, М. Фэйнсон, А. Инкелес и многих других исследователей и интеллектуалов рангом поменьше, советское общество и его политическая система представляли собой инвариант системы тоталитарного господства («тоталитарной диктатуры»), характерного для периода между двумя мировыми войнами, и представленного также фашистской Италией и национал-социалистической Германией (Arendt, 1951; Friedrich, Breziński, 1956; Loewenstein, 1957; Fainsod, 1958; Inkeles, Bauer, 1959; Aron, 1965). Отличительными чертами системы тоталитарного господства в рамках тоталитарной модели является монополия на власть одной партии, масштабный контроль тоталитарной партии-государства над всеми сторонами общественной и частной жизни людей, что приводит к практически полному стиранию границы между «публичным» и «приватным» в обществах подобного типа, массовый государственный террор против реальных и воображаемых политических противников, идеологическая обработка населения в духе одной, единственной верной идеологии и всевластие тайной полиции. С точки зрения теории тоталитаризма, система тоталитарного господства или «тоталитарной диктатуры» (К. Фридрих, З. Бжезинский) представляла собой качественно новое явление в человеческой истории, принципиально отличавшее ее от всех прежних авторитарных форм правления и диктатур прошлого. Эта новизна была обусловлена как техническими (развитие новых средств пропаганды, массовой коммуникации, а также аппаратов надзора, контроля и террора), так и социальными предпосылками (пришествие массовой современной демократии, которая представляет собой благоприятную почву для появления и прихода к власти тоталитарных партий и движений). Отвечая на вопрос о причинах жизнеспособности тоталитарных режимов (тоталитарная диктатура Гитлера потерпела крах лишь в результате военного поражения в годы Второй мировой войны, тогда как Советский Союз вышел из нее победителем) авторы тоталитарного «направления» обычно ссылались на значение массовой пропаганды и террористического полицейского контроля как на те два ключевых фактора, которые позволяли правящим группировкам тоталитарных обществ обеспечить себе подчинение и лояльность доминируемых социальных групп и слоев. Тем не менее, эта концепция постепенно утрачивала свою академическую респектабельность по мере того, как после смерти И. В. Сталина в 1953 г. советское руководство отказалось от массовых репрессий как способа удержания власти и либерализовало отдельные стороны политической, культурной и частной жизни страны, что, однако, не привело к необратимой дестабилизации системы. Тем не менее, в годы «перестройки» и в 1990-е годы теория тоталитаризма снова привлекла внимание, на этот раз — отечественных интеллектуалов, многие из которых увидели в ней ключ к пониманию советского прошлого и российского настоящего. Именно в адрес этого ренессанса теории тоталитаризма как модели понимания и объяснения советского человека и советского общества в кругах отечественных интеллектуалов и литераторов 1990-х

годов и была полемически направлена критика данной идеологической рамки понимания советского прошлого в антропологических исследованиях Козловой.

«Само понятие тоталитаризма, — писала Козлова, — не столько описывает реальность обществ в условиях коммунистических режимов, сколько предписывает идеологические рамки видения этих обществ. Представляется, что здесь имеет место смешение языка политической теории и языка социального и тем более антропологического исследования» (Козлова, 2005: 473). Несостоятельность концепции перехода от тоталитаризма к либерально-рыночному обществу в качестве теоретической модели, объясняющей политические и социальные изменения в российском обществе 1980–1990-х гг. побудили исследователей, работающих в разных областях социального и гуманитарного знания, искать новые средства понимания и интерпретации. Речь шла о таких областях социального и гуманитарного знания, как социальная история, социально-экономические и социокультурные исследования крестьянских и эксплоярных экономик, экономики символического обмена, социологических исследованиях локальных сетей поддержки и обмена, «культуры бедности», моральной экономики, социальных технологий повседневного сопротивления и т. д. Благодаря этим теоретическим и методологическим новациям сложились благоприятные предпосылки для кристаллизации новой теоретической перспективы исследований советского общества как особой типа общества модерна и одновременно — как непреднамеренного социального изобретения, возникшего в качестве результата множества социальных игр, в которые играли советские люди.

Советское общество как особая форма общества модерна и непреднамеренное социальное изобретение

Постановка под вопрос модели советской истории, ориентированной на теории тоталитаризма, потребовала построения иных, альтернативных теоретических моделей понимания и объяснения советского прошлого. Именно из поиска таких альтернативных моделей берет свое начало предпринятое Козловой теоретическое усилие понять советское общество как особое социальное образование, возникшее в качестве непреднамеренного социального изобретения. «Главный вопрос, — писала Козлова, — на который мне хотелось бы ответить: как и чем держалось советское общество» (Козлова, 2005: 20). Свою работу она понимала как попытку ответить — на материале истории советского общества — на поставленный еще Максом Вебером вопрос: «Какие мотивы заставляли и заставляют отдельных „функционалов“ и членов данного „сообщества“ вести себя таким образом, чтобы подобное сообщество возникло и продолжало существовать?» (Вебер, 1990: 620). Без ответа на этот вопрос, добавляет Козлова, невозможно понять, как возникло и существовало целый век советское общество, как и почему оно прекратило свое существование.

В этом своем стремлении Козлова была отнюдь не одинока. Ее исследовательские интересы в данном случае шли параллельно и даже в известном смысле совпадали с усилиями исследователей советского общества из других стран. Еще к 1995 году американский ученый Стивен Коткин, в своей книге «Магнитка» (Kotkin, 1995)⁵ с примечательным подзаголовком «Сталинизм как цивилизация», посвященной строительству города Магнитогорск и его градообразующего предприятия — Магнитогорского металлургического комбината на Южном Урале в годы первой пятилетки, подчеркивал, что сталинизм был не просто «политической системой, или же правлением одного человека, но совокупностью ценностей, социальной идентичностью, образом жизни» (Kotkin, 1995: 23).

В 1930-е годы, — писал Коткин, — советские люди были вовлечены в великое историческое предприятие, которое получило название «строительства социализма». Этот насильственный переворот, начавшись с ликвидации капитализма, вылился в коллективный поиск социализма в домашнем хозяйстве, жилье, градостроительстве, массовой культуре, экономике, управлении, миграции населения, социальной структуре, политике, ценностях, и во множестве других областей, от стиля одежды до стиля мышления. В рамках твердой, но смутно очерченной некапиталистической ориентации, это открывало большие возможности для экспериментирования. (Kotkin, 1995: 355)

Иными словами, сталинизм в этой исследовательской перспективе рассматривается как целая цивилизация, комплексное изучение которой требовало разработки нового репертуара исследовательских стратегий и подходов. Они сложились в противовес тоталитарной модели советского общества в американской историографии 1970–1990-х гг., получив в ней название «ревизионистских». Эти новые стратегии исследований советского прошлого были представлены прежде всего работами таких авторов, как Ш. Фитцпатрик, М. Левин, С. Коткин. Главное достоинство этого пионерского на то время подхода Козлова усматривала в том, что здесь на смену модели советского общества как социального монолита, скрепленного пропагандой и террором, где есть лишь жертвы, составляющие большинство, и агенты системы — надсмотрщики и палачи, которых всегда меньшинство, приходила более дифференцированная и мозаичная картина советского модерна, учитывающая «голоса» людей, живущих в рамках этой системы и использующих ее в своих собственных, зачастую далеких от официальных целей. Парадокс, однако, заключается в том, что такой образ действий вовсе нет необходимости прочитывать как борьбу с системой, поскольку игра не по правилам, предписываемым системой, зачастую способствовала воспроизводству социального порядка не в меньшей степени, чем слепое следование его правилам.

5. В самом названии книги автор сознательно обыгрывает двусмысленность, заключенную в английской версии этого названия: с одной стороны, *Magnetic Mountain* — это магнитная гора, Магнитка, с другой — волшебная, чарующая гора.

«Обращение к миру повседневности, — отмечала Козлова, — позволяет нарисовать картину, в корне отличную от той, которую дает политическая теория тоталитаризма. Язык концепций тоталитаризма „не совпадает с тем“, как этот мир обговаривался людьми» (Козлова, 2005: 474). Со второй половины 1990-х годов этот тренд исследований советского прошлого становится одним из ведущих как в России, так и за рубежом⁶. В 2000-е годы он оформляется в целое направление исследований советского общества через призму его повседневных социальных практик, которое сегодня занимает одно из центральных мест в историографии советского прошлого⁷.

Именно на перепутье этих исследовательских интересов и новых теоретических подходов складываются предпосылки для появления новой многообещающей научно-исследовательской перспективы, направленной на «переосмысление советского общества как цивилизации, как *социального изобретения*» (Козлова, 2005: 475) или, точнее, как непреднамеренного социального изобретения. По словам Н. Н. Козловой, «проблема вхождения в современность — не только и не столько проблема объективных предпосылок воспроизводства (или изобретения). Это проблема людей, у которых есть мотивы отвергать существующее положение вещей и желать изменения собственных жизненных обстоятельств и самих себя. Разные люди по-разному понимали изменение, но множественные усилия по изменению объединялись. Советское общество — побочный продукт. Мы не можем сказать, что-то и те-то изобрели это общество. Речь идет действительно о *непреднамеренном социальном изобретении*» (Козлова, 2005: 483).

В центре такого понимания социальной динамики советского общества находится идея имманентного и непреднамеренного порядка социальных изменений и перемен. Речь идет о таком функциональном переплетении отношений и взаимодействий между людьми в общественной жизни, которое возникает в ходе их совместной игры по определенным правилам в общем социальном пространстве. Его результатом становится производство и воспроизводство невидимого, непосредственно не воспринимаемого социального порядка, в рамках которого уста-

6. Подводя в 2008 году промежуточные итоги трансформации исследований советского общества после распада СССР, Шейла Фитцпатрик писала: «Расцвели региональные исследования, включая „Волшебную гору“ Стивена Коткина, о Магнитогорске на Урале, который выдвинул тезис о том, что в 1930-е годы в качестве побочного продукта русской революции появляется особая советская культура („сталинская цивилизация“). Социальные историки открыли значение писем простых граждан властям, — жалоб, доносов, просьб, — хранящихся в архивах, что способствовало динамичному развитию исследований повседневной жизни, имевших много общего с исторической антропологией. По сравнению с 1980-ми годами (что отражает общие тенденции развития в рамках исторической науки) нынешнее поколение молодых историков проявило столько же интереса к культурной и интеллектуальной истории, сколько и к социальной, используя дневники и автобиографии для разьяснения субъективных и индивидуальных аспектов советского опыта» (Fitzpatrick, 2008: 8).

7. Хорошим примером подобного типа исследования может служить не столь давняя коллективная монография под редакцией Шейлы Фитцпатрик и Микаеля Гаера: Gayer, Fitzpatrick, 2009.

навливаются определенные подвижные властные балансы между различными социальными категориями и слоями советского общества⁸.

Как отмечала Н. Н. Козлова, сам термин *социальное изобретение* принадлежит к языковым репертуарам постклассических социальных теорий и встречается в работах Н. Элиаса и Б. Вальденфельса, М. Фуко и Р. Харре, М. де Серто и П. Бурдьё.

Генетически этот термин, — пишет Козлова, — связан с понятием общественного воспроизводства, которое также акцентирует внимание на процессуальном характере социального изменения. Понятие воспроизводства, однако, более нейтрально в том смысле, что не делает акцента на субъективной стороне процесса. В представлении о социальном изобретении, несомненно, учитывается способность индивида быть агентом (агентность). Когда употребляют выражение «социальное изобретение», вовсе не имеют в виду, что это конкретное общество, социальное установление или ритуал изобретены теми-то и теми-то, то есть отдельными *конкретными* людьми или даже группами людей. Напротив, желают подчеркнуть, что социальное изобретение люди делают только *вместе*, в процессе совместной жизни. Социальное изобретение — побочный продукт, именно в этом смысле оно *непреднамеренно*. Результат никогда не совпадает с намерением индивидуального агента. Это всегда *изобретение без изобретателя*. (Козлова, 2005: 71–72)

Советское общество и игры идентичности

Представление об обществе как о «социальном изобретении» связано с метафорой игры. Задавшись вопросом о том, какую теоретическую рамку можно было бы противопоставить тоталитарной модели советского общества, неудовлетворительность которой становилась все более заметной, Козлова пришла к выводу, что теоретической альтернативой ей могло бы стать понимание советского общества как общей игры по определенным правилам, как формальным, так и неформальным. Выдвижение на первый план понятия игры как наиболее *адекватного способа репрезентации социального* позволило ей сделать ряд неординарных выводов об устройстве советского общества и особенностях жизненных практик советских людей.

Судя по всему, идея советского общества как общей игры была подсказана Козловой как ее методологическими размышлениями, связанными с антропологическими исследованиями советского общества, так и чтением трудов американских

8. Заметим по ходу дела, что та проблема, которую Козлова на материале своих антропологических исследований формулирует применительно к советскому обществу, была еще в 30-е годы прошлого века сформулирована Н. Элиасом на языке и материале теоретической социологии. То, чего нам недостает, писал Элиас, — «так это мыслительных моделей и общего видения, с помощью которых мы, размышляя, могли бы понять, что же мы в действительности ежедневно видим, постичь, каким образом многие отдельные люди вместе образуют нечто большее, нечто иное, нежели просто совокупность множества отдельных людей, — как они образуют „общество“ и как получается, что это общество может определенным образом изменяться, что оно имеет историю, которая протекает так, как она действительно протекает, и которая никем не задумана, не предумышлена, не запланирована никем из отдельных людей, ее образующих» (Элиас, 2001: 19).

историков — «ревизионистов» (Ш. Фитцпатрик, С. Коткин). Еще в своих работах 1970–1980-х годов Ш. Фитцпатрик показала, что сталинизм как система и как жизненная практика опирался на поддержку довольно обширного социального слоя, — а именно, на новые кадры научной, технической и административной интеллигенции, созданные в ходе сталинской Культурной революции 1929–1932 гг. и рекрутировавшиеся из числа рабочих и крестьян (Fitzpatrick, 1979, 1982, 1992). В сталинскую эпоху их было принято называть «выдвиженцами», тогда как Ш. Фитцпатрик именует их новым советским «средним классом». Это поколение сталинских выдвиженцев, занявшее значимые позиции в партийном и хозяйственном административно-бюрократическом аппарате к концу 1930-х гг., было главным бенефициаром сталинского «великого перелома». Именно из этой категории советских людей вышли главные игроки в советское общество сталинской эпохи; тем из них, кто вошел в советскую элиту, суждено было стать «становым хребтом советского общества» (Козлова, 2005: 446).

Особенно созвучным исследовательским усилиям Козловой в ту пору оказался проект американского исследователя Стивена Коткина, направленный на реконструкцию социальных практик повседневной жизни строителей Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорск на Южном Урале в годы первой пятилетки (1929–1932). Достоинство его социально-антропологических исследований состояло в том, что он первым применил для осмысления повседневных социальных практик сталинского общества метафору «игры». С ее помощью ему удается преодолеть упрощенный взгляд на сталинское общество, в соответствии с которым каждый человек — либо жертва, либо агент политической системы. Коткин показывает, пишет Козлова, что

советское общество сталинской поры функционировало как система правил, включая правило социальной идентификации. Правила налагались партийно-государством, но одновременно активно использовались людьми. Результаты этих игр идентичности отнюдь не были предопределены государством. Работая с огромным материалом, исследователь рисует динамичную, постоянно изменяющуюся сеть социальных отношений как некий «пейзаж возможностей». Одновременно он показывает, как социальные актеры действовали в пределах этих возможностей. (Козлова, 2005: 32)

В каком значении берется термин «игра» в антропологических исследованиях «советского человека» у Козловой? Отказ от использования «жесткого» понятия социальной системы, давящей на индивидов сверху и предполагающей манипулятивную модель объяснения их поведения, настоятельно требовал нахождения более подходящих концептуальных средств описания и истолкования взаимодействия индивидов в советском обществе. В рамках антропологических исследований Козловой эта проблема принимает форму вопроса о том, какая метафора описания социальных взаимодействий способна задать наиболее адекватный контекст интерпретации рассматриваемых автобиографических источников.

Обращение к исследованию человеческих документов, — отмечает Козлова, — позволяет ощутить и показать, как по одним и тем же правилам начинают действовать люди, друг на друга совершенно не похожие и обитающие в разных социальных пространствах. Причастность генетически разных социальных акторов к одной культуре можно интерпретировать, опираясь на метафору игры, которая выступает как познавательное и методологическое средство. (Козлова, 2005: 63)

Использование метафоры игры для объяснения социальных и культурных взаимодействий между отдельными индивидами в обществе имеет давнюю традицию в философской и социально-научной мысли XX в. Её использовали такие выдающиеся социологи XX в., как Н. Элиас и П. Бурдьё, историк Й. Хейзинга, философ Л. Витгенштейн. Последний в своих «Философских исследованиях» разработал довольно сложный концептуальный аппарат, включающий такие базовые понятия, как «языковые игры», «следование правилу» и «фоновое понимание», которые получили впоследствии широчайшее применение не только в аналитической философии, но и в современной социальной теории.

Понятия *следования правилу* и *согласия* (точнее, молчаливого согласия, т. е. того феномена, что на английском языке передается терминами *tacit agreement* и *background understanding*) являются ключевыми для понимания игры как метафоры социальных взаимодействий между индивидами. В своих исследованиях «советского человека» Козлова использует понятие социального правила, предложенное известным антропологом А. Радклифф-Брауном. В своем анализе правилосообразной деятельности он делал особый акцент на том, что социальное отношение всегда включает ожидание того, что участники отношения будут придерживаться определенных правил поведения. В свою очередь, это ожидание конституируется эмпирическими актами вербального (или молчаливого) признания правил большинством членов общества. «Правило существует в его признании, — писал Радклифф-Браун. — Признание и есть его феноменальная реальность». Соответственно, «правило поведения — это нечто, существующее в умах определенного множества людей, существующее благодаря тому факту, что они признают это нечто в качестве подходящего образа действия» (Radcliff-Brown, 1948: 100).

То, что в данном случае имеется в виду, подчеркивала Козлова, следует называть не системой правил, но родом *социальной грамматики*⁹. Социальная грам-

9. Выбор в пользу *социальной грамматики*, а не *системы правил* и тем более не *социальной системы* как базового понятия и метафоры в исследованиях Козловой был продиктован уже хорошо известной нам задачей уйти от манипулятивных моделей объяснения и понимания советского общества. «Игровые модели, — писала она, — позволяют схватить вероятностный характер социальных процессов, решить на уровне методологических средств проблему альтернативности истории как оппозиции социального детерминизма и прогрессистской установки. Выражение „система правил“ начинаешь употреблять с опаской. Не лучше ли употребить выражение „грамматика правил“? В конечном итоге речь идет не о системе (отдельной от людей), но об изменяющихся *фигурациях* (Н. Элиас) людей. „Социальная система“ и „социальная структура“ — понятия, выработанные в классической парадигме социального знания, в обычном словоупотреблении не просто статичны. Они создают

матика любого общества, в том числе и советского, представляет собой структурированное целое, однако то, как употреблять содержащиеся в ней правила, в значительной степени отдается на усмотрение действующего лица. Вступая в новую для них социальную игру, индивиды действуют в соответствии с привычным для них габитусом, обусловленным своеобразием их социального — «крестьянского», «местечкового», «мещанского», «рабочего» и т. д. — опыта и происхождения. *Габитус* (данное понятие Козлова заимствует из социологии культуры П. Бурдьё) — это не только история и социальность, встроенные в тело и язык человека, его унаследованный культурный капитал, но и генератор актов игры, в нашем случае — игры в советское общество.

Социальный габитус — питательная почва для складывания индивидуальных различий. Попадая в новые обстоятельства и меняя их, люди несут в себе как черты своей личной и семейной истории, так и истории тех слоев, страт и общества в целом, в которых они родились. *Габитус* — унаследованный капитал, который обуславливает стартовую позицию и возможность ставок в тех или иных социальных играх, а также способ, каким делаются эти ставки. Это встроенная в тело и язык структурирующая структура, инкорпорированный принцип игры. Это *искусство изобретения*, позволяющее производить бесконечное число *практик*, относительно непредсказуемых, но в то же самое время ограниченных в своем разнообразии. (Козлова, 2005: 73)

Эти разновидности габитуса являют собой предрасположенности к определенным формам мышления и поведения, которые находят свое воплощение в конкретных действиях отдельных индивидов. Однако они не предписывают актерам социальной драмы никаких конкретных форм осуществления, но лишь очерчивают перед ними определенное пространство возможностей для действия, задают игровое пространство. Иными словами, здесь снова выступает на первый план перспектива актера. «Люди объективно следуют правилам, однако они не есть продукты подчинения правилам. Кроме того, любая жизнеспособная система содержит область, в которой индивид свободен в своем выборе» (Козлова, 2005: 64). Речь идет о том, что система правил, которая используется в социальной жизни, предполагает индивидуальные интерпретации со стороны действующих актеров и тем самым открывает для них известные возможности для манипулирования системой в свою пользу. «Под этим углом зрения, — отмечала Козлова, — не так уж важно, в результате каких именно действий сложилась грамматика правил (или социокультурный тип). Речь идет о следовании правилу, когда действия носят регулярный характер и достаточно предсказуемы. Однако следование правилу не равно подчинению внешнему принуждению» (Козлова, 2005: 64–65).

Безусловно, правила действуют лишь тогда, когда они притязают на интересную значимость, то есть являются *социальными* и признаются людьми. Од-

впечатление пустого социального пространства (наподобие абсолютного пространства Ньютоновой механики), „отдельного“ от реальных индивидов» (Козлова, 2005: 66).

нако это вовсе не означает, что они должны быть всеобщими или обязательными для всех, или же составлять часть последовательного, лишённого всяких противоречий порядка. Более того, достижение успеха в жизненной игре требует не механического следования заданным правилам, и даже не далеко идущего сознательного расчета, а, скорее, определенного «чувства игры», которое вырабатывается в ходе ее самой. Как справедливо отмечала по этому поводу Козлова,

для результатов социальной игры не так уж важно, играют ли истово и охотно, молчаливо, без особой охоты, как бы нехотя или «понарошку». Главное, «соглашаются», играют. Пока соблюдаются правила, общество живет. Пока играли в партийное или комсомольское собрание, жило советское общество. Сейчас, с исторической дистанции, это особенно ясно видно. Постепенно приходит понимание, что есть альтернативность истории, ибо социальные правила никогда не соблюдаются буквально. (Козлова, 2005: 63–64)

Не менее важным в контексте понимания советского общества как общей игры является и понятие молчаливого (додискурсивного) согласия. Оно позволяет Козловой поставить еще один важный вопрос — о *необходимость согласия и соучастия доминируемых* как важнейшей предпосылке воспроизводства советского общества. Как отмечает Козлова, жизнь советского общества в сталинскую эпоху было бы в высшей степени ошибочно представлять в качестве результата деятельности одного-единственного социального демиурга — тоталитарного советского государства-партии. Согласие, пусть и молчаливое, и участие простых людей в производстве и воспроизводстве если не порождающих принципов социальных практик, то, по крайней мере, самих этих практик, было неперенным условием воспроизводства советского общества и культуры в целом. «Невозможно рассматривать советское общество и культуру только как эманацию власти, как отношение, где есть один субъект и центр круга жизни — власть, а где все остальные люди — лишь объект властного воздействия. Осуществление власти невозможно без *согласия*, без соучастия тех, над кем властвуют» (Козлова, 2005: 361). Правда, здесь необходимо оговориться, что соотношение бинарных оппозиций добровольности/принудительности, желания/принуждения на разных этажах советского общества в разные эпохи его истории было разным/могло существенно отличаться. Такое молчаливое, или додискурсивное согласие есть важнейшая предпосылка самой возможности участия в игре как в советское общество в целом, так и в его отдельные разновидности.

Как отмечает Козлова,

всегда имеет место некое априорное молчаливое согласие относительно значения мира, которое лежит в основе мира людей как мира здравого смысла. Закон пребывает за пределами мира людей и встраивается в их язык и тело. Государство имеет способность и возможность налагать способ видения и соответствующие ценностно-оценочные структуры. В то же самое время понимаешь, что никакие правила не могут реализоваться, не будучи воспроиз-

ведены людьми — неважно, подтверждают ли они громко свою веру в правило, молчаливо подчиняются или даже выступают против. (Козлова, 2005: 361)

Благодаря такой постановке вопроса Козлова своими антропологическими исследованиями советского общества прокладывала путь для кристаллизации новой программы изучения советского общества, обращенной прежде всего к изучению его *социальной грамматики*, задававшей как общие правила игры в советское общество, так и в ее отдельные разновидности. Как показывает Козлова в своих исследованиях, живущие в советском обществе

люди, рожденные в разных социальных пространствах, по сути, следуют одним и тем же правилам игры — как кодифицированным, так и некодифицированным. История каждого уникальна, у кого-то совпадает с нормативным биографическим нарративом, у кого-то — нет. Одни играют охотно, другие не очень, а третьи, казалось бы, вообще не пытаются. Но общая игра, называемая советским обществом, как мы его знаем (и узнаем по приведенным рассказам), возникает как непреднамеренный результат. Еще раз повторим, использование понятия и метафоры игры позволяет объяснить, как на одном поле и по одним правилам начинают действовать участники, разительно друг на друга непохожие. (Козлова, 2005: 375)

Обретение советской идентичности как процесс

Вопрос о том, как воспроизводится (изобретается) общество, можно переформулировать и иначе: как *человек изобретает сам себя*, как он приобретает свою социальную идентичность¹⁰. По мнению Козловой, применительно к истории советского общества этот вопрос целесообразно ставить в процессуальных категориях, раскрывающих нюансы обретения индивидами советской социальной идентичности как *процесс*. Надо признать, что для такой постановки вопроса у нее были весьма веские основания.

Социальную идентичность человека, как индивидуальную, так и коллективную, было бы в высшей степени опрометчиво рассматривать как некий завершенный социальный конструкт или образование. Не только по отношению к молодежи, но и по отношению к взрослому человеку зачастую очень сложно установить, завершился ли процесс сложения его идентичности, и если да, то когда и как он подошел к своему финалу. Ведь и «взрослые никогда не бывают полностью и окончательно завершенными, сформировавшимися существами» (Элиас, 2001: 45). Особенно справедливо это в переломные эпохи, во времена революционных переворотов и общественных потрясений, когда не только молодым, но и взрослым, уже сложившимся людям зачастую даже помимо своей воли приходится меняться, отказываться от привычных установок сознания, структуры инстинктов и

10. Под *социальной идентичностью* в данном случае подразумевается «осознанный и принятый агентом смысл его позиции в социальном пространстве» (Козлова, 2005: 54).

форм поведения, что может быть достигнуто только за счет предельной самодисциплины и самоконтроля. Как справедливо замечает по этому поводу Н. Элиас, «действительной ясности в вопросе об отношении индивида и общества можно достичь лишь тогда, когда процесс постоянного становления индивидов включают в рамки самого общества, а процесс индивидуализации — в теорию общества. Историчность всякой индивидуальности, феномен созревания и взросления при объяснении того, что такое „общество“, имеют ключевое значение» (Элиас, 2001: 45).

Вне всякого сомнения, эти взгляды Н. Элиаса на взаимоотношения индивида и общества были необычайно близки Козловой. Именно поэтому в ее антропологических исследованиях ключевое место занимает изучение процесса складывания и обретения советской идентичности представителями различных социальных слоев и групп советского общества. Речь идет именно о процессе, то есть о рефлексивно-проективном усилии, растянутом на длительную жизненную перспективу¹¹. Особое значение при этом приобретают опыт и личные свидетельства первых поколений советских людей — тех, кто родился незадолго до и вскоре после революции 1917 года. «Исследовать идентичность как процесс, — писала Козлова, — значит показать, каким образом он развивается во временной протяженности, работает через язык и развитие социальных ролей, а также тесную связь между *частным* опытом самоидентичности и ее *публичным* выражением» (Козлова, 2005: 283).

Возникновение специфически современной идентичности как рефлексивно-проективного усилия по сознательному усвоению человеком смысла своего положения в социальном пространстве характерно для вхождения в цивилизацию модерна. Оно предполагает преобладание опосредованных форм опыта, важное место среди которых занимает письмо, и широкое распространение абстрактных посредников, организующих взаимодействие между людьми в широком диапазоне пространства и времени, освобожденном от тесной привязки к местному (локальному) контексту. Подобная постановка вопроса «делает возможным рассмотрение советской идентичности в контексте вхождения в модерн, что подразумевает превращение массы людей деревенских в городских» (Козлова, 2005: 55).

Правда, здесь стоит оговориться, что в центре антропологических исследований Козловой находилась вовсе не крестьянская масса, но другая, особая категория советских людей, тех, кого в годы первых пятилеток называли «выдви-

11. В основе такого подхода к личной идентичности «Я» как рефлексивно-проективному усилию по поддержанию связанного повествования о своей жизни в контексте жизни общества лежит представление о человеке как процессе становления социальным существом, составляющее основу теории идентичности и социальных изменений теоретической социологии Н. Элиаса. В своей работе «Что такое социология?» этот выдающийся социолог писал: «Несмотря на то, что на первый взгляд это идет вразрез с обыденными способами говорения и мышления, все равно более соответствует делу, когда говорят, что человек постоянно находится в движении; он не просто движется в рамках определенного процесса, он и сам есть этот процесс. И когда мы говорим о развитии, то имеем в виду имманентный порядок непрерывной последовательности, в котором всякий раз более поздний образ следует из более раннего, юность — из детства, взрослое состояние — из молодого без всякого перерыва. Человек есть процесс» (Elias, 2006: 155).

женцами» — молодых инженеров и управленцев, выходцев из «низов» советского общества, которые окончив в годы первой пятилетки вузы, стали основой новой советской, по преимуществу технической и административной, интеллигенции. (Ш. Фитцпатрик называет их «брежневским поколением», а Н. Н. Козлова — *делегатами* массы, впоследствии составившими основу советской номенклатуры и советского «среднего класса»). В отличие от бывших крестьян, пришедших в города и послуживших главным антропологическим материалом советского общества и ресурсной базой советской модернизации, претенденты на роль *делегатов* массы, представители будущей сталинской номенклатуры и советского среднего класса, имели более пестрое социальное происхождение — рабочее, местечковое, по случаю — мещанское. Конечно, среди них было немало выходцев из крестьян, да и как может быть иначе в крестьянской стране, но в целом по отношению к крестьянской массе они были *другими* и воспринимались и властью, и доминируемым слоями советского общества, да отчасти самими собой как *другие*. Другими были и практики их приобщения к советскому модерну. Эти «другие, культивирующие самоконтроль и самонормирование, попадали в поле воздействия легитимирующих Больших рассказов идеологии, в мир вербального письма» (Козлова, 2005: 479). Несмотря на то, что в отличие от крестьян они не были главными агентами *изобретения* советского общества, «роль в этом процессе тех, кто пришел из других социальных пространств, сложно переоценить. Советское общество, каким оно было, продукт общей игры разных агентов» (Козлова, 2005: 479).

Именно к членам этой новой социальной группы в первую очередь относится тезис Козловой о том, что в советском обществе сталинской эпохи «вербальное письмо становится не только принципом социальной иерархизации, но условием выделения из массы новой социальной группы (страты), советского среднего класса» (Козлова, 2005: 478). Письмо является образцом опосредованного опыта. По нему можно проследить как процесс конструирования социальной идентичности, так и базовые формы социальных связей. Козлова ссылается в данном случае на Э. Гидденса, который полагал что люди, личное «Я» которых представляет собой рефлексивный проект, в массовом порядке появляются именно в условиях цивилизации модерна. Процесс формирования личности находит свое выражение в выборе определенной социальной позиции и идентификации себя с ней, благодаря чему человек получал возможность создать связное повествование (нарратив) о своей жизни, разворачивающейся от прошлого через настоящее к будущему. При этом в основе целостности самоидентичности личности лежит связность ее автобиографического повествования вне зависимости от того, было выражено оно в дискурсивных категориях или нет. Реализация жизненного проекта происходит в контексте вариантов выбора, отфильтрованных абстрактными системами. В условиях сталинского модерна абстрактные системы были «представлены прежде всего идеологическим легитимирующим нарративом, который, кстати, задавал и канон „правильного“ жизненного пути» (Козлова, 2005: 279).

В условиях советского общества подобная «опосредованность нарратива дискурсивными (метанарративными) единицами гомологична представлению о возможности выбора из спектра разнообразных *способов жизни* или *жизненных стилей*, пусть даже этот спектр очень неширок» (Козлова, 2005: 56).

Невидимый, непосредственно не воспринимаемый порядок совместной жизни людей в обществе предлагает отдельному человеку только более или менее ограниченную шкалу жизненных шансов и способов поведения. Пространство выбора, которое остается при этом открытым для отдельного индивида, зависит как от социального происхождения человека и его социального опыта, так и от структуры общества и положения дел в том социальном объединении, в котором он живет и действует. «Индивиды принуждаются к выбору жизненного стиля из ряда возможностей. Жизненный стиль становится все более значимым в конституировании самоидентичности и повседневной активности. Так становится возможным рефлексивно организованное жизненное планирование» (Козлова, 2005: 56).

Тот репертуар жизненных шансов, который советское общество 1930-х годов могло предоставить вступающим в жизнь поколениям молодых людей, был относительно небогат. Им приходилось строить свою жизненный путь и осуществлять свое жизненное планирование в пределах того довольно скудного ассортимента жизненных форм и жизненных шансов, которым располагала советская цивилизация и культура сталинской эпохи.

Молодые люди, — пишет Козлова о «выдвиженцах» 1930-х годов, — планировали свою жизнь в рамках тех форм социальной организации, в которой они жили и которая составляла среду существования, неважно, идет ли речь о социальной организации или дискурсе. Так, они не подозревали, что может быть иное образование, нежели то, что дается в Коммунистической академии и тому подобных заведениях. (Козлова, 2005: 235)

Однако и в подобной ситуации ограниченного репертуара выбора нам, как справедливо напоминает Козлова, стоит иметь в виду то конститутивное для истории возникновения любого современного общества обстоятельство, что

узость границ выбора отнюдь не является особенностью лишь советского варианта вхождения в модерн. Модерн отнюдь не только открывает возможности эмансипации и самоактуализации, но и производит различие, исключение и маргинализацию. Тем не менее, представление о жизненных стилях относится не только к элите. Если и не всем, то многим приходится принимать решения. (Козлова, 2005: 56)

В любом случае, нет и не может быть общей формулы, которая применительно ко всем видам общества без исключения могла бы продемонстрировать, насколько велико в нем пространство индивидуального выбора и решения. Главное, однако,

здесь заключается в том, что «ни в одном виде общества подобные пространства выбора не отсутствуют вовсе» (Элиас, 2001: 82).

В своих антропологических исследованиях «советского человека» Козлова использует тексты дневников, автобиографических заметок и свидетельств для того, чтобы проследить процессы складывания этой новой советской идентичности в среде сталинских «выдвиженцев». По тексту дневника можно проследить историю складывания этой идентичности, по крайней мере, ее основные вехи. Применительно к сталинским «выдвиженцам» эпохи первых пятилеток поиск социальной идентичности «можно представить как процесс, аналогичный процессу овладения иностранным языком (в отличие от языка родного). Имеется в виду рефлексивный контроль и дистанцирование в процессе идентификации. Участие в новых риторических играх как элементе новых практик приводит к смене *габитуса*» (Козлова, 2005: 280).

Центральное место в этих новых поисках идентичности занимает освоение правил и навыков нормативного письма. В эпохи бурных социальных перемен огромное значение приобретает освоением доминируемым способом правильно писать на господствующем языке, благодаря чему «пишущий присваивает чужой язык и распоряжается им по-своему» (Козлова, 2005: 176). Речь здесь идет о парадоксах, вписанных в саму логику символического доминирования, на которые впервые обратил внимание П. Бурдьё. А именно, «сопротивление может лишать независимости, а подчинение может приносить освобождение. Таков парадокс доминируемых, выхода из которого нет» (Бурдьё, 1994: 230). Это замечание известного французского социолога целиком и полностью применимо к процессам обретения людьми советской идентичности в сталинскую эпоху. Освоение и присвоение *делегатами* массы господствующего языка советской идеологии — путь к освобождению и восхождению на социальный Олимп. Пишущий правильно — хозяин, пишущий неправильно — раб. Те молодые сталинские «выдвиженцы» из социальных «низов», которые хотели быть хозяевами новой жизни, с готовностью принимали языковые игры, с энтузиазмом осваивали новый советский идеологический язык, способствуя тем самым воспроизводству системы. Как метко замечает Козлова, в сталинском СССР язык «Краткого курса истории ВКП(б)» — то же, что в статусных обществах язык высших классов, или то же, что литературный язык для того, кто раньше говорил на диалекте (Козлова, 2005: 280). Однако одним воспроизводством системы дело здесь не ограничивалось — оно шло рука об руку с реализацией личных жизненно-практических стратегий «новых людей», этих делегатов массы, их желанием выжить, вписаться в новое общество, сделать в нем карьеру. «Умение играть в новые словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена, овладение техниками писания и чтения, достижение нормативной телесности составляли процесс обретения идентичности. Люди пользовались соответствующим набором культурных правил и языковых идиом, которые регулировали отбор, сочетание и осмысление элементов нового опыта» (Козлова, 2005: 283).

Парадоксы тоталитарного языка и прецедентные тексты советской культуры

В условиях цивилизации модерна огромное значение приобретает характер тех средств, которые используются людьми для конструирования своего личного «Я» как «рефлексивного проекта». Применительно к советскому обществу сталинской эпохи эти проблемы формулируется Козловой следующим образом: «Способны ли люди, жившие в сталинский период, к артикуляции своей частной идентичности за пределами ценностей данной политической системы?» (Козлова, 2005: 31). Нам представляется, что в итоге своих исследований «голосов» людей советского общества, накладывающихся на его идеологический макродискурс или большой нарратив о себе самом, Козлова приходит скорее к неутешительному выводу о том, что такой способностью люди, жившие в сталинский период, не обладали. Однако этот неутешительный вывод не должен заслонять от нас обратной стороны «медали», т. е. того обстоятельства, что в специфических исторических и социальных условиях советской цивилизации именно официальный нарратив и идеологический дискурс власти становился тем символическим ресурсом, используя который, человек мог конструировать и создавать свою собственную идентичность и субъектность. «Тот язык, который определяют как тоталитарный, — подчеркивала Козлова, — обладает потенциалом высвобождения и складывания субъектности» (Козлова, 2005: 474).

В этом заключается еще один парадокс советского общества, в котором официальный язык, нормативно-когнитивные карты восприятий и оценок, а также структуры повествований, заданные советским государством, его институтами и культурными посредниками, парадоксальным образом служили главным ресурсом для выработки простыми советскими людьми рефлексивного отношения к своей собственной жизни — этого, безусловно, одного из главных цивилизационных достижений социального и культурного модерна. Казалось бы, что может быть более далекого от интимных нюансов личного биографического опыта, нежели официальный язык и когнитивно-нормативные карты восприятия и оценки, однако в условиях советского общества именно они давали в руки советским людям средства, с помощью которых они могли осмыслить свою личную жизнь и идентичность и сформировать предпосылки для субъективно-рефлексивного к ним отношения.

Эпистолярное наследие простых советских людей, с которым работала Козлова, было бы в высшей степени опрометчиво рассматриваться как простую аккумуляцию и письменную фиксацию их личного жизненного опыта. При ближайшем рассмотрении личные истории советских актеров выглядят в высшей степени абстрактными и редуцированными к определенным моделям.

Личные модели восприятия и памяти социально обусловлены, это социальные конструкции. Эти конструкции «принуждают» индивида рассматривать

то или иное событие в определенном контексте. Входящие в модель понятия не произвольны, они отображают социальную значимость ситуаций. Биографическая ткань уникальна. Речь идет о разных людях, разных событиях и, несомненно, уникальных эпизодах. Однако они вспоминаются, понимаются, «прочитываются» единообразно, как бы через некоторую призму. Структура дискурса задает последовательность эпизодов, действий, событий и их последовательность. Она позволяет определять объекты и события как релевантные и нерелевантные. Жизнь складывается в историю. Мы постигаем действительность только через наличные модели. (Козлова, 2005: 123)

Такие абстрактные модели, по которым выстраивалась личная история советских людей, в советской культуре были представлены прежде всего *прецедентными текстами*. В условиях зрелого сталинского общества конца 1930-х — начала 1950-х годов главным прецедентным текстом был «Краткий курс истории ВКП(б)», первое издание которого вышло в 1938 году. Этот нормативный текст, сразу же положенный в основу системы политического просвещения и образования в СССР, задавал структуру видения и деления социального мира советского человека¹².

Ментальная модель, заданная этой книгой, — пишет Н. Н. Козлова, — до сих пор присутствует в системе социальных представлений. Он выступал одновременно в роли Писания и в функции ключевой точки на когнитивно-нормативной карте не одного советского поколения. Он воплощал концепцию истории как эсхатологию, телеологию и теорию линейного прогресса, оказывая мощное воздействие на типы личной идентичности в советском обществе. (Козлова, 2005: 124)

На равных с ней, хотя и несколько особняком, стоял второй тип прецедентных текстов советского общества 1930–1950-х годов — соцреалистический роман как аналог агиографий и апокрифов. В отличие от «Краткого курса истории ВКП(б)», который, по словам Н. Н. Козловой, «не терпел разночтений и практически не оставлял места для игры» «соцреалистические романы оставляли пространство для жизненной игры, ибо претендовали на воспроизводство повседневности» (Козлова, 2005: 125). Такие соцреалистические романы представляли собой аги-

12. О том значении, которые придавали советские правящие круги этой книге в качестве главного прецедентного текста советской культуры, свидетельствуют и те тиражи, которыми эта книга издавалась в СССР при жизни И. В. Сталина, которому приписывалось ее авторство. В постановлении ЦК ВКП(б), принятом после выхода в свет «Краткого курса» в 1938 г., говорилось, что эта книга представляет собой «энциклопедию основных знаний в области марксизма-ленинизма» (Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)“» // Правда. 1938. 15 ноября). По случаю десятилетия выхода в свет «классического труда товарища И. В. Сталина» — книги «Краткий курс истории ВКП(б)», изданной 1 октября 1938 г., — газета «Культура и жизнь» (30 сентября 1948 г.) писала, что только в СССР книга вышла в количестве 34 млн. 219 тыс. экземпляров на 63 языках, а также что она была переведена «почти на все языки мира». Постановления об издании дополнительных тиражей «Краткого курса» неоднократно — в 1946 г., 1950 (дважды) и 1951 (дважды) годах — принимались Политбюро ЦК ВКП(б) и в послевоенные годы (Яковлев, 2005: 29).

ографии, исполненные в жанре образцовой биографии. Они снабжали простых советских людей символическими средствами и ресурсами, и, что немаловажно, нарративными клише и оборотами речи, с помощью которых можно было вести повествование о личной истории и идентичности.

Дореволюционное прошлое, с его ошибками и заблуждениями, представало перед читателем соцреалистических романов в качестве этапа подготовки безупречного настоящего, в котором противоречия если и сохранились, то только «неантагонистические». Советский «читатель воспринимает биографии героев как „правильные“, ибо читатели сами в свое время конструировали собственную биографию. В этом смысле и в историческом метанарративе, и в соцреалистических романах присутствует „жизненная правда“. Во всяком случае, часть читателей могла бы сказать: да, это обо мне...» (Козлова, 2005: 129). В свою очередь, как отмечала Козлова, сопоставление соцреалистических произведений и тех способов, какими советские люди — авторы биографических заметок — строят нарративы о жизни и о себе, дает возможность ощутить, что чтение не есть пассивный акт. По словам Козловой, прецедентный текст советской культуры являет собой «резервуар форм, которым читатель придает значение. Он производит комбинации с фрагментами и формирует нечто неизвестное в организованном пространстве, создавая бесконечную плюральность значений. Канон не просто задавался сверху, он совместно производился читателями и писателями» (Козлова, 2005: 129–130).

Вообще следует отметить, что советская соцреалистическая литература 1930-х годов, рассчитанная на массового читателя, носила ярко выраженный назидательно-дидактический характер. Она была рассчитана на вполне определенную, прежде всего молодежную, целевую аудиторию и в те годы всегда находила своего верного и преданного читателя. Многие западные интеллектуалы-коммунисты, пожаловавшие в 1930-е годы в сталинский СССР в поисках новой «земли обетованной», отмечали поразительный эффект идентификации тогдашних советских людей с героями соцреалистических романов. Так, Лион Фейхтвангер в своей наделавшей в свое время немало шума книжке «Москва. 1937» помимо всего прочего делился своими впечатлениями о том, что «герои прочитанного романа становятся в Советском Союзе такими же живыми существами, как какое-нибудь лицо, участвующее в общественной жизни. Если писатель привлек к себе внимание советских граждан, то он пользуется у них такой же популярностью, какой в других странах пользуются только кинозвезды или боксеры, и люди открываются ему, как верующие католики своему духовному отцу» (Фейхтвангер, 1990: 195). При желании в этом свидетельстве маститого европейского писателя можно усмотреть подтверждение тезиса Козловой о «вербальном» коде советской культуры. Образцовые биографии советских людей, предлагаемые соцреалистической литературой, и в самом деле часто служили моделями конструирования личной идентичности для советских людей 1930–1940-х гг. Примечательно и то, что такие образцовые соцреалистические произведения биографического плана, как «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, написан-

ные еще в сталинскую эпоху, вплоть до конца 1980-х гг. — по сути дела, вплоть до завершения советского эксперимента и крушения Советского Союза — входили в канон школьного советского образования по отечественной литературе.

Прецедентные тексты советской культуры не ограничивались «Кратким курсом» и соцреалистическими романами. Третий тип прецедентных текстов — это речи и выступления советских вождей, и материалы очередных съездов ВКП(б) — КПСС. Здесь опять-таки на первом месте стояли тексты самого И. В. Сталина, собранные в два канонических сборника: «Вопросы ленинизма», выдержавший несколько изданий, и «О Великой Отечественной войне»¹³. Еще один тип прецедентных текстов советской культуры был представлен кинематографом, где наряду с большими вождями и вождями рангом поменьше в роли главных действующих лиц выступали простые советские люди в изображении любимых народом актеров и актрис, предоставлявшие в распоряжение массового советского зрителя визуализированные образы канона «простого советского человека». Эти же фильмы в качестве прецедентных текстов советской культуры учили советских людей отличать друзей от врагов, преданных партии советских граждан — от лукавых и лицемерных «попутчиков», сознательных противников из числа «бывших» или «социально отсталых» элементов — от сбившихся (или сбитых «врагами») с пути выходцев из рядов «трудового народа». Все эти бинарные классификации составляли неотъемлемый элемент идеологического дискурса власти в 1930-е гг. Не стоит забывать также о средствах массовой информации, прежде всего о газетах и радио, позднее (начиная с 1950-х гг.) — о телевидении, которые тоже не без успеха претендовали на роль ретрансляторов прецедентных текстов и коммуникаторов-посредников. Недаром популярный эпистолярный жанр доминируемых слоев советского общества — не только «письма вождям», но и «письма в газету» или в «редакцию газеты», рассчитанные на обратную реакцию адресата¹⁴. При этом важно помнить и о том, что на телевидении и на радио «многие тексты, как известно, являются результатом предварительной письменной подготовки» (Козлова, 2005: 299). То же самое касается и сценариев советского кинематографа.

Иными словами, в советском обществе язык власти и написанные на нем прецедентные тексты советской культуры выполнял важнейшую работу субъективации и индивидуализации, позволяя людям создавать свои личные истории и выстраивать свою личную идентичность, одновременно помещая ее в более широкий социальный контекст, что давало им возможность соотносить свою собственную жизнь или жизнь своей семьи с жизнью советского общества в целом. «Тексты „классиков“, газетная правда стоят в одном ряду и выполняют одну функцию. Это ключевой слой нового языка, которым можно было обговорить новую, неведомую и непонятную реальность, непонятное сделать понятным» (Козлова

13. В 1951 году, незадолго до смерти И. В. Сталина, было опубликовано 11-е, последнее прижизненное издание его «Вопросов ленинизма».

14. Жанру «письма вождям» в советскую эпоху посвящено несколько интересных исследований Е. В. Суровцевой. Среди них особо выделяются два: Суровцева, 2008, 2010.

2005: 198). При этом, как точно замечает Н. Н. Козлова, доминируемые слои советского общества «не были в состоянии подвергнуть этот язык сомнению, ибо по отношению к языку позиция отсутствует» (Козлова 2005: 199). По сути дела, ее не могло и быть, поскольку официальный советский нарратив, составлявший основу индивидуализации и субъективации советских людей, не содержал в себе ресурсов, позволявших выработать рефлексивное отношение к нему. «За пределы этого языка, — отмечает Козлова, — было очень трудно выйти. Даже тогда, когда люди вопрошали общество вне рамок школьных и прочих программ, общество отвечало им все на том же языке» (Козлова, 2005: 201).

Овладение новым языком выступает в советском обществе в качестве ставки в жизненной игре. От того, насколько успешно человеком овладевал новым идеологем, зачастую зависели не только его карьерные шансы, но и сама жизнь. Если же человек хотел не только выжить, но и «вписаться» в новое общество, соответствовать его требованиям, у него не было иного пути, кроме как овладеть языком власти, сделать его своим. Такое усвоение доминируемого господствующего языка парадоксальным образом приносило с собой освобождение и примирение с самим собой и с обществом. «Умение играть в новые словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена, овладение техниками письма и чтения и стремление вписаться в общество шли рядом. Если ты хотел не только „выжить“, но и вписаться, надо было овладеть языком власти» (Козлова, 2005: 201), — констатирует Козлова.

Как подчеркивает Козлова,

значимость этих языковых игр трудно преуменьшить. Конечно, посредством символических словесных игр реализовывался дискурс власти. Но именно в результате игры складывались риторические коды как общественные правила говорения, кодирующие формы повествования и речи. Создавался социальный (социоисторический) код как система правил высказывания об обществе и о самих себе, система именованья, почва для взаимопонимания между разобщенными индивидами. (Козлова 2005: 203)

Этим языком в советском обществе пользовались все, даже те, кто был «не согласен» или же вроде бы находился «вне игры». «В результате в обществе возникает система взаимопонимания, что вовсе не означало принятия „всеми“ идеологических догм. Советское общество называют обществом идей. Но скорее, оно было обществом слов и игры в слова» (Козлова, 2005: 204).

Что означает «играть в слова»? — спрашивает Козлова. По ее словам, «эту игру можно трактовать как приобщение к прецедентным текстам эпохи. Прецедентными, как известно, называют тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях и имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников. Обращение к этим текстам воспроизводится в дискурсивных практиках». К числу таких текстов обычно относят мифы и

предания, библейские тексты, притчи, анекдоты, сказки, тексты художественной литературы, которые можно считать ключевыми текстами эпохи. В этот же ряд, по мнению Козловой, следует включить и тексты больших идеологий. «Знание прецедентных текстов есть показатель не только принадлежности к данной эпохе и ее культуре, но культурной компетентности, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка отверженности» (Козлова, 2005: 200). Через знание прецедентных текстов советской культуры люди приобщались не только к грамоте или официальной идеологии, но и получали «готовые ответы» на коренные вопросы своего жизненно-практического существования.

По мнению Козловой, советскую цивилизацию можно назвать цивилизацией слов в том смысле, что основной ее код имеет вербальный характер.

Социокультурная возможность построения советской системы как стабильного исторического образования, — отмечает она, — открылась с приходом коммуникативной стратегии письма как системы упорядоченных знаков. Тема строительства нового как тема модерна представляет проект писания на уровне общества в целом, стремящегося конституироваться в качестве чистого листа относительно прошлого, производить себя как свою собственную систему, продуцировать новую историю, переделывать ее в соответствии с моделью прогресса. Эту характеристику можно отнести ко всем обществам, входящим в модерн. (Козлова, 2005: 482)

Спецификой советского модерна сталинской эпохи было то, что ядро советской культуры базируется на проговаривании текстов. Как подчеркивает Козлова, не только производство идеологических текстов и литература, но и музыка, живопись, архитектура лишь во вторую очередь ориентировались на создании особых художественных миров, главным же все же был «пересказ» того, что следовало воспринять с помощью органов чувств. Несмотря на то, что в создании «большой массы» эпохи сталинизма огромную роль сыграли иные средства коммуникации — кино, радио, зрелища, совокупное воздействие которых было во многих отношениях сильнее, чем воздействие печатного слова, «именно печатное слово эксплицитно ставилось в этом обществе превыше всего, быть может, в силу явно просветительской ориентации власти» (Козлова, 2005: 482).

Понимание сталинизма как воплощения просвещенческой утопии является одной из отличительных черт интерпретации истории советского общества, предложенной Козловой.

История СССР, — писала она, — вновь должна стать частью европейской истории хотя бы потому, что тот же сталинизм есть яркое выражение просвещенческой утопии. Это попытка средствами государства рационально упорядочить общество, одновременно преодолевая острые различия, которые возникли в процессе индустриализации российского общества. Она коренилась в традиции социально ориентированного, прежде всего городского общества, которая сделала Просвещение возможным. (Козлова, 2005: 21)

Впрочем, стоит оговориться, что понимание сталинизма как воплощенной просвещенской утопии или просвещения большевиков как «провинциального просвещения „третьей волны“» раскрывает перед нами только одну сторону проблемы советской цивилизации как «цивилизации слов». Другая, не менее важная сторона проблемы связана с тем, что в советском обществе сталинской эпохи конечной социальной инстанцией, гарантировавшей силу и действенность идеологического слова, служили внеречевые практики организованного государственного насилия, воплощенные в собирательной метафоре «машина террора». Как верно замечает Козлова,

обольщаться всесилием «слов» в советском обществе вряд ли следует, да и невозможно. Сила слова гарантировалась не только и не столько идеологией и авторитетом вождей, сколько совокупностью внеречевых практик, которую современные исследователи обозначают метафорой «машины террора». Как известно, в эти машины попадали и успешные игроки в слова. Впрочем, такова история человечества. (Козлова, 2005: 483)

Как только мы втягиваемся в орбиту институционализированного насилия, на котором держался советский модернизационный проект, мы оказываемся в мире, где советский модерн как цивилизация слов и игры в слова утрачивает свою мнимую самодостаточность, но, наоборот, настоятельно требует для своего воспроизводства когда эпизодического, а когда, — особенно в кризисные или переходные моменты, — систематического использования организованного насилия. Упоминание о значении организованного, или институционального насилия, в кризисные моменты буквально «вбивавшего» или «вписывавшего» новые системы классификации и оценок в мышление и телесность «советских людей», подводит нас к вопросу о главных институциональных измерениях советского модерна, который также нашел свое отражение в исследованиях Козловой.

Социальные классификации и роль идеологического языка

Трудно переоценить роль идеологического языка в социальном конструировании принципов организации, видения и деления социальной реальности советского общества. Э. Гидденс выделяет несколько базовых институциональных измерений модерна, особое место среди которых занимают знаковые символические системы, использование которых позволяет организовать взаимодействие между социальными актерами на большом диапазоне пространства и времени, вынося в то же самое время за скобки необходимость их личного знакомства и непосредственных контактов друг с другом (Гидденс, 2010: 22–26, 32–39). Для западного модерна наиболее ярким примером символических знаковых систем служат деньги. Однако деньги — не единственный символ модерна. Огромное значение имеют также средства политической (идеологической) легитимации, Великие или Большие рассказы, как называет их Ж.-Ф. Лиотар (Лиотар, 1998). Еще одно значимое измере-

ние модерна составляет развитый аппарат надзора и централизованный контроль государства над средствами насилия. «Деньги вряд ли можно счесть символом советского модерна, однако второе и третьей институциональные измерения явно присутствуют, компенсируя слабость первого» (Козлова, 2005: 479). То, какие измерения преобладают в том или ином обществе, зависит от истории и устройства самого этого общества, от условий, в которых оно возникло и от характера установившихся в нем преобладающих типов социальной связи. Что касается советского общества, то в нем «язык идеологии имел большее значение в установлении общественной связи между людьми, чем деньги. Еще большее место занимала деятельность централизованных систем насилия» (Козлова, 2007: 477). Выше мы отмечали то немаловажное обстоятельство, что в советском обществе сталинской эпохи именно эти два институциональные измерения образовывали в сочетании друг с другом главную несущую конструкцию, составлявшую организационную матрицу советского модерна.

Специфической отличительной чертой советского общества является то, что в нем «роль идеологического дискурса в установлении порядка мира и самой социальной связи занимает центральное место» (Козлова, 2005: 273). Подобно всем символическим знаковым системам, системы идеологического языка воссоздают реальность, служат моделью видения вещей и мира. Они реорганизуют мир в терминах действий, а действие реорганизуют в терминах мира. По словам Козловой,

идеологический язык *переописывает* мир, как, впрочем, и обычный. Он предлагает и внушает системы классификации, которыми пользуются как привилегированные, так и непривилегированные. Приобретенные способы классификации мира кажутся «естественными», в том и сила классификации. Например, практически все пользовались классификацией *наш человек/ не наш человек*. Но родилась эта классификация в поле доминирующих. Партия-государство как сверхсубъект власти классифицирует людей на нужных и ненужных. (Козлова, 2005: 272)

Идеологический язык играл определяющую роль в социальной конструкции принципов видения, организации и классификации социальной реальности советского общества. Этот момент необходимо принимать во внимание во всех исследованиях истории советского общества, истории не только объективированной, но прежде всего инкорпорированной. Как справедливо замечала Козлова, важнейшая концептуальная и методологическая проблема изучения «советского» связана с тем, что исследователи

часто не задумываются о социальной генеалогии тех классификаций, которые полагают объективными свойствами реальности, тем самым становясь на место трансцендентального субъекта, не замечая исторической и социальной обусловленности когнитивных норм и категорий познания. Теоретические идеализации легко онтологизируются, то есть принимаются за реальность. Именно об этом пишет П. Бурдьё. В дифференцированных обществах

основой когнитивных структур выступает государство. Государство имеет возможность и способность налагать *nomos*, разделяемый «всеми», принципы видения и деления, соответствующие когнитивные и ценностно-оценивающие структуры. Государство, следовательно, выступает основанием молчаливого дорефлексивного согласия относительно значения мира, которое лежит в основе опыта мира как мира здравого смысла. (Козлова, 2005: 26–27)

В особенности это справедливо относительно советского идеократического государства, когнитивные структуры, классификации и деления которого по сию пору продолжают выступать в качестве основы и нормы восприятия и оценки советского общества в историко-социальных исследованиях, будь то знаком плюс, будь то со знаком минус. Не помогают в данном случае и дескриптивно-истолковывающие подходы типа тех, что приняты в этнометодологии и феноменологической социологии, поскольку они предполагают нерелексивное принятие за норму повседневной социальной жизни в советском обществе, в особенности, скажем так, в период «бури и натиска» 1920–1930-х гг. того, что являлось скорее кардинальным отклонением от нормы размеренной и упорядоченной социальной жизни¹⁵. По словам Козловой, ни этнометодологи, ни феноменологи

не поставили вопроса о социальной конструкции самих принципов организации социальной реальности, которую они стремились объяснить. Не обратились также к вопросу о вкладе государства в конструирование принципов конституирования. А ведь именно государство собирает, обрабатывает и перераспределяет информацию и осуществляет теоретическую унификацию. Занимая выгодную позицию Целого, государство берет на себя ответственность за все операции *тотализации* (особенно благодаря проведению переписей, налаживанию статистики) и *объективизации*, через картографию (презентация пространства сверху) или, более просто, через письмо как инструмент аккумуляции знания (архивы, например), а также *кодификации* как рода когнитивной унификации, подразумевающей централизацию и монополизацию в руках чиновников и литераторов. Государство осуществляет унификацию культурного рынка, унифицируя коды (языковые и юридические), гомогенизируя все формы коммуникации, включая бюрократическую (через формы, официальные извещения). Так, государство «выплавляет» ментальные структуры и налагает формы мышления, которые для цивилизованного ума выступают аналогом того, что М. Мосс и Э. Дюркгейм описывают как первобытные классификации. (Козлова, 2005: 27)

Для советского человека государство было вездесущим и играло центральную роль в его жизни. В советском обществе привычные формы классификации мира — это государственные формы. Государство отвечало за все формы класси-

15. Как верно отмечает Ш. Фитцпатрик, жизнь простых людей в Советской России 1930-х гг. «как в их собственном понимании, так и в нашем, не была нормальной: для живущих в чрезвычайное время нормальное существование становилось роскошью. Коренные сдвиги и тяготы 1930-х гг. уничтожили нормальный ход вещей, превратили его в нечто такое, к чему советские граждане могли только неустанно, но, как правило, безуспешно стремиться» (Фитцпатрик, 2001: 7).

фикации — социальные (рабочие, крестьяне, интеллигенты, «бывшие»), гражданские (полноправные и неполноправные граждане, среди которых две самые большие категории — это колхозные крестьяне, лишённые паспортов и «лишенцы» (бывшие чиновники, торговцы, священнослужители, зажиточные крестьяне), лишённые как гражданских прав, так и их символического выражения — паспортов, национальные (титульные и нетитульные нации, русские и «националы», народы «развитые» и «отсталые»), культурные — люди «культурные» и «некультурные» и т. д. Оно организовывало повседневную жизнь советских людей и нормировало их жизненные практики. С помощью официальных делопроизводственных документов советской эпохи

появляется возможность проследить генезис структур и классификаций, понять, как этого и многих других Иванов Ивановичей категоризировали. Как делали *исчислимыми* (Ф. Ницше) и стимулировали к действиям определённого рода. Именно обращение к разнообразным справкам и личным документам позволяет выйти на вопрос о социальном конструировании самих принципов конструирования социальной реальности, которые агенты применяют к социальному порядку. Позиция, занимаемая социальным агентом в социальном пространстве, управляет репрезентациями этого пространства. Мы начинаем понимать, как наш Иван Иванович обрел свою «позицию письма» или принцип видения (*точку зрения*), через какие именно структурные решетки ему надо было для этого *просочиться* (или его *продавали*). (Козлова, 2005: 140)

По этой причине, как показывает Козлова, одна из своеобразных черт советского (сталинского) модерна заключается в том, что, вопреки широко распространённым представлениям, применительно к нему противопоставление официального и «народно-низового», казенной «Истины» с большой буквы и народной «правды жизни» имеет весьма ограниченное применение. Более того, вопрос можно поставить ещё более резко: является ли все то, что, по мнению исследователя или эксперта, говорит «народ», исконной «народной» правдой? В этом стоит усомниться, поскольку есть весьма основательные поводы для предположения, что большая часть из того, что «народ» говорит о себе и своей жизни, внушено ему многочисленными культурными посредниками, окружающими его в современном обществе — учителями, священниками, писателями-«деревенщиками», партийными и профсоюзными пропагандистами, средствами массовой информации и т. д. Зачастую очень трудно отделить представления о «народе», возникшие в самой толще народной жизни, от представлений о «народе», внушенных и переданных ему культурными посредниками в качестве его истинного «образа» и его истинных «мнений» о самом себе. Это справедливо и по отношению к советскому обществу. Анализируя дневники и воспоминания простых «советских людей», Козлова отмечает, что, как правило, их схемы восприятия, классификации и оценки мира совпадают с официальными или оказываются очень близки им. Официальный

нарратив образует здесь своего рода канву, на которую накладывается рассказ о событиях и действиях, составляющих индивидуальную или семейную историю того или иного актера. Иными словами, само представление о противостоянии официальной и народной культур, языка власти, идеологического метадискурса и личного нарратива (повествования) требует глубокого переосмысления, поскольку в советском обществе с его вездесущей ролью государства как регулятора отношений повседневной жизни и производителя норм и смыслов большая часть того, что принято считать низовой народной культурой, оказывается смоделированной или внушенной самим государством, его институтами и не в последнюю очередь — его бюрократическими и культурными авторитетами.

Иными словами, применительно к «советским людям», в особенности сформировавшимся или жившим в сталинскую эпоху, сложно, если вообще возможно поставить вопрос о народной «правде жизни» в противоположность официальному идеологическому нарративу, по той простой причине, что когнитивно-нормативная карта восприятий советского человека формировалась под преобладающим влиянием советского государства и его культурных посредников — учителей, преподавателей, пропагандистов, средств массовой информации и т. д.¹⁶ Изучение дневников, воспоминаний и биографических заметок простых советских людей дало Н. Н. Козловой возможность выдвинуть теоретически многообещающую гипотезу о том, что присущие им когнитивные карты восприятия и оценки, а также структуры повествования о жизни не были дистанцированы от советского общества, но, напротив, воспринимались их носителями как естественная данность. В силу этого данные когнитивно-нормативные модели были практически лишены критической дистанции по отношению к советскому обществу и легитимирующему его языку самоописаний. «Логика официальной номинации и индивидуально-го языка агента в данном случае совпадают» (Козлова, 2005: 142), — отмечает Козлова. Действующие лица превращаются здесь в агентов легитимного социального порядка, все усилия которых уходят на его поддержание и воспроизводство. Для значимых новаций не остается не сил, ни желаний, ни соответствующих ресурсов; отсюда — своеобразный социально-психологический консерватизм доминируемых слов советского общества, продиктованный неспособностью инициировать «изменение традиции», продиктованной сверху и превратившейся в основу социальной игры.

В советском обществе сталинской эпохи через участие в определенных языковых играх, причем вовсе не обязательно связанных с *официальными формами использования* официального языка (подчеркнем этот момент особо), происходит воспроизводство социального порядка и официальных идеологических форм его легитимации. Языковые игры — это не только игра в слова, они образуют определенные *формы жизни*, задающие социальный контекст и социальную размерность человеческой жизни. Они входят в плоть и кровь простых советских людей, осо-

16. Постановка вопроса о «назначении „народа“» как ставке в символической борьбе интеллектуалов является заслугой Пьера Бурдьё (Бурдьё, 1994: 222–230).

бенно тех из них, кто лишь начинал делать карьеру и являлся «свежим» человеком (еще одно необычайно удачное выражение Козловой) не только в советской элите, но и «свежим» горожанином с недавним крестьянским или «местечковым» прошлым. Будучи записанными на их теле, инкорпорированными в него, эти дискурсивные и нарративные формы советского новояза становятся своего рода текстурой новой советской идентичности, обретаемой миллионами людей, стремящихся к лучшей жизни. Через письмо как форму субъективации они движутся к деятельности, к принятию определенных форм жизни в качестве само собою разумеющихся. Такие официальные и неофициальные формы использования официального идеологического дискурса как источника формирования социальной идентичности и субъективности, равно как и их непреднамеренные последствия, составляют одну из примечательных особенностей советской цивилизации, заслуга обращения внимания на которую, безусловно, принадлежит Козловой.

Советский модерн, или Иная современность

Каковы же те выводы общего характера, к которым приходит Козлова в результате своих социально-антропологических исследований советского общества? Прежде всего, она категорически утверждает, что 70 лет советской истории вовсе нельзя считать ни «черной дырой», ни аномалией в социально-историческом развитии, ни разрывом с современностью¹⁷. Совсем наоборот, подчеркивает она, «в соответствии с антропологическими критериями можно сделать вывод, что в модерн мы вошли. Темы современности звучат внятно» (Козлова, 2005: 476). Говоря о «темах современности», Козлова имеет широкое присутствие в опыте советских людей таких нормативно-когнитивных тем современности (П. Бергер), как Абстракция, Будущность, Индивидуация, Освобождение и Секуляризация (Berger, 1977: 70–80). «Эти темы как бы пронизывают человеческую жизнь во всех ее телесно-духовных жизненно-практических проявлениях, причем их исторические реализации не только приносят блага, но и порождают трагические дилеммы» (Козлова, 2005: 476). Речь идет не только о способности советских людей оперировать практи-

17. По поводу такого обличительного отношения к советскому прошлому Козлова в свое время совершенно справедливо писала, что он очень часто основан на сознательном (или бессознательном) забвении пишущими подобные строки своей собственной жизненной и социальной траектории, а нередко — и своей фамильной истории, и обычно представляет собой не что иное, как ставку в символической борьбе, которая, несмотря на то, что по сути дела она является уловкой («уж мы то знаем, что это было и какой ценой всё это оплачено»), тем не менее не перестает быть ставкой в подобной борьбе, связанной, как правило, с сознательной «реконверсией» своего жизненного опыта с тем, чтобы занять более выигрышное — по отношению к реальным и воображаемым оппонентам — положение в поле интеллектуальной игры, изменить властный «баланс сил» в свою пользу. По меткому замечанию Козловой, «не первый раз приходится убеждаться: „Рабовладельцы“... ГУЛАГ... лесоповал... „тройка“... „вся страна на костях“...» (Кулиса НГ, № 2, 1997) есть разменная карта в символической борьбе. Цель этой борьбы — изменение балансов власти, объективированных в физическом пространстве и символически означенных. Речь идет о соперничестве разных частей доминирующего класса, которые имеют как общую историю, так и общее социальное пространство» (Козлова, 2005: 456).

ческими абстракциями, или же осмыслять свои индивидуальные достижения и свое место в обществе с помощью языковых кодов, заданных абстрактными инстанциями власти, но и о более тонких материях, напрямую касающихся личной индивидуальности и субъектности человека. Если не у всех, то у многих появляется представление о своей жизни как о личной биографии¹⁸. Сама жизнь индивида выстраивается и осмыляется в терминах карьеры, понимания того, кем он был (рабочим, крестьянином, детдомовцем и т. д.) и кем ему довелось стать (ответственным работником, полярным летчиком, стахановцем или стахановкой, инженером-орденоносцем, военным, известным ученым и т. д.). Жизненный цикл личности складывается из последовательно проходимых этапов, внешним коррелятом которого становится календарь, в котором обязательно находят отражение отголоски внешних событий: родился в год смерти Сталина, закурил в тот год, когда пошел в армию и т. д. Безусловно, «представление о „Я“ как о рефлексивном проекте возникает далеко не у всех. Не каждый есть субъект. Однако человек, который предпринял усилие письма, произвел субъективное действие» (Козлова, 2005: 485). В любом случае, заключает Козлова, новый биографический способ идентификации складывается у большой массы людей, и это есть один из важнейших симптомов вхождения в современность.

Индивидуация, появление самостоятельных и рефлексивных социальных актеров — одна из главных, можно сказать, сквозных, тем модерна. Она вовсе не ограничивается рыночно-капиталистическими обществами западного типа. Главное, что необходимо для запуска и успешного осуществления процесса индивидуации и субъективации — это наличие абстрактных символических знаковых систем, с помощью которых социальные актеры могли бы конструировать свою личную и коллективную идентичность.

Как следствие отделения человека от коллективных общностей традиционного типа возникает Индивидуация, самым тесным образом связанная с абстракцией. Индивид способен воспринять себя как «отдельную личность» — сложную и уникальную, с собственной неповторимой судьбой — именно вследствие возникновения абстрактных социальных мегаструктур, которые сами по себе вряд ли могут обеспечить потребность в личном участии, в обоюдной теплоте, которую испытывает каждый человек. В случае советского общества в качестве такой системы выступает марксистско-ленинская идеология. (Козлова, 2005: 477)

Важнейшей особенностью цивилизации модерна на начальных фазах ее становления является также то, что, будучи направленной на демонтаж традиционных или досовременных социальных форм и на замену их современными индустриальными формами, она одновременно создает новые социальные формы, которые являются основой для формирования новой идентичности.

18. «Сам факт появления тех биографических нарративов, на которых построена основная часть работы, — пишет Козлова в заключительной части своего исследования „Советский человек“, — связан с непрерывностью самотождественного „Я“, которое постоянно присутствует в повествовании. Автобиография составляет ядро самоидентичности в условиях современной социальной жизни» (Козлова, 2005: 485).

стриальными формами, ее успех, — пусть и не в критической степени, — зависит от способности использовать в своих целях человеческий капитал, сложившийся в традиционном досовременном обществе, его антропологические, моральные и культурные ресурсы. Это касается не только западной¹⁹, но и восточной (Япония, Китай, страны Юго-Восточной Азии) и советской (сталинской) цивилизации модерна. Это — и готовность к добросовестному труду, и что немало важно — к отложенному потреблению, озабоченность честью фирмы и желание внести посильный вклад в успех своего трудового коллектива, по сути дела, тот самый пресловутый «командный дух», о котором так много писали и говорили на Западе в 1950–1960-е годы, но который прекрасно умели без излишней шумихи использовать и советские «ответственные работники», и китайские коммунисты (достаточно вспомнить известный лозунг времен «большого скачка» — «Десять лет напряженного труда — десять тысяч лет счастья»)²⁰, и капитаны японской индустрии и бизнеса. Отличительной чертой советского (сталинского) модерна является то, что в поощрении такого рода жизненно-практических мотиваций и поведенческих установок огромную роль играли не только традиционные моральные установки сельского мира, но и наложенные на них абстрактные идеологические системы легитимации, оперирующие императивом самопожертвования и коллективной взаимопомощи ради абстракции светлого Будущего. Умение пользоваться практическими абстракциями и строить свою жизнь с оглядкой на них также относится к числу базовых характеристик человека цивилизации модерна. Советский модерн с его «экономикой жертвы» и культивированием аскезы ради светлого будущего вполне органично вписывается в этот ряд.

Социальные исследователи проблем рациональности отмечают, — писала Козлова, — что условием и фундаментом индустриализации является человек, способный не просто к дисциплине и организованности самим по себе, но к рациональному поведению, основанному на дисциплине. Для рационального поведения важно — как результат — не потребление «здесь и

19. О значении традиционного человеческого капитала в его моральной, социальной и культурной формах для процессов модернизации старых европейских обществ кратко, но в высшей степени внятно пишет Э. Хобсбаум в своем известном труде «Эпоха крайностей: 1914–1991», причем известный английский историк-марксист именно с исчерпанием этого человеческого ресурсного капитала связывает важнейшие кризисные тенденции в развитии западного мира последних 50 лет. «Капитализм, — пишет английский историк в предисловии к своей работе, — являлся долговременной и непрерывно революционизирующей силой. По логике вещей он должен был закончиться с разрушением тех частей докапиталистического прошлого, которые считал удобными и очень важными для своего развития. Он должен был закончиться после того, как был срублен по крайней мере один сук из тех, на которые он опирался. Однако этот процесс идет уже с середины двадцатого столетия. Под влиянием небывалого экономического подъема «золотой эпохи» и последующих лет, вызвавших самые кардинальные социальные и культурные изменения в обществе со времен каменного века, этот сук начал трещать и ломаться. В конце двадцатого века впервые появилась возможность увидеть, каким может стать мир, в котором прошлое, включая прошлое, перешедшее в настоящее, утратило свою роль» (Хобсбаум, 2004: 26).

20. Классическим примером рассмотрения данного круга проблем на примере коммунистического Китая может служить исследование Эндрю Уолдера: Walder, 1986.

теперь», а отсрочка вознаграждения с целью накопления и инвестиций. Советская культура также диктовала «экономике жертвы» и аскетизм. Вот она, наша аскеза, об отсутствии которой скорбят исследователи провеберовской ориентации! Потребление отложено до «светлого коммунистического будущего». (Козлова, 2005: 481)

Правда, оговаривается Козлова, «накапливал... прежде всего Левиафан государства» (Козлова, 2005: 481).

Крайне примечательна та суммарная характеристика, которую Козлова дает советской современности — «модерн без гражданского общества» (Козлова, 2005: 487). Понимание современности как многомерного социального и культурного явления, рождающегося в качестве особой социально-экономической и культурно-религиозной констелляции в странах Западной Европы в Новое время, но охватывающего затем весь мир, позволяет отказаться от представлений о современности как о некоем фиксированном составе определенных социально-типологических, культурных и антропологических характеристик. В данном случае размышления Козловой, контекстуально привязанные к переосмыслению опыта советского общества имеют, на наш взгляд, более широкий подтекст, связанный с дискуссией о «множественной современности» или о «множестве современностей» (*multiple modernities*), вопрос о которой широко дебатировался в социальных и гуманитарных науках в 1990-е годы²¹. В этот период проблема современности и ее состава как предмета социальной теории все чаще стала рассматриваться под новым углом зрения, что во многом было обусловлено как переосмыслением опыта социалистических экспериментов в XX веке, так и вступлением во второй половине этого же века на путь интенсивной модернизации целого ряда ведущих стран Азии, Африки и Латинской Америки. Это заставило многих специалистов социальных наук задаться вопросом о том, насколько правомерно продолжать рассуждать о существовании одной-единственной западной современности, призванной выполнять роль нормативного образца социального развития для всех стран и народов мира. В результате в социальных науках в 1990-е годы проблема современности стала рассматриваться через призму вопроса о множественности моделей современного общества и, соответственно, о наличии множественности путей к современности и множества способов быть современными²².

21. В качестве наиболее показательных примеров подобного рода дискуссий можно указать, в частности, на такие работы, как: Touraine, 1988; Taylor, 1995; Eisenstadt, 2000. В настоящее эти дебаты о «множестве современностей» перекочевали на почву историографических споров об общем и особенном в истории Российской империи/СССР/России. Из последних публикаций на эту тему отметим обзорную работу Майкла Дэвида-Фокса, в которой подводится итог дискуссиям 2000-х годов в зарубежной англоязычной историографии советского прошлого и намечаются новые перспективы исследований: David-Fox, 2015: 21–47. Я выражаю свою признательность Евгению Блинову за то, что он обратил мое внимание на эту статью.

22. Полемически заостряя вопрос о «множестве современностей», английский политический теоретик Джон Грей писал в начале «нулевых» годов, что «существует много способов быть современными. Усвоение науки и использование новых технологий современными обществами не сопровождается принятием ими одних и тех же ценностей. Идея о том, что современные общества в общем и целом

Эти новые веяния в западной социальной теории 1990-х — начала 2000-х годов нашли свой отзвук и подтверждение и в социально-антропологических исследованиях советского общества, которыми занималась Козлова.

Коль скоро модерн уже не видится более равным капитализму, а капитализм — протестантизму, — писала она, — то вполне можно помыслить себе модерн без гражданского общества. Недаром сегодня социальные теоретики во все большей степени осознают, сколь узки те социально-теоретические рамки, в которых существует гражданское общество, человек экономический и человек политический. Во всяком случае, чем глубже и разностороннее будет понимание того, что уже произошло, тем лучше можно понять, что с нами происходит. (Козлова, 2005: 487)

Таким образом, на основе результатов, полученных Козловой в рамках ее проекта исследования «советского человека», складываются предпосылки для построения *новой теоретической рамки*, позволяющей говорить о советском обществе как об особом типе общества модерна, а о советской модернизации — как об особом пути модернизации, непреднамеренным результатом которого стало появление нестандартной (по сравнению с западным образцом или образцами) модели современного общества — «модерна без гражданского общества».

Вместо заключения

Пришла пора подвести итоги. Как мы видели, в центре исследовательского проекта Н. Н. Козловой, ориентированного на изучение «советского человека», стоит понимание советского общества как особого типа цивилизации модерна и непреднамеренного социального изобретения. Главный вопрос, на который она стремилась найти ответ в рамках своего исследовательского проекта, — это вопрос о том, как и чем держалось советское общество и почему в конечном итоге оно перестало существовать. «Любое социальное изменение происходит тогда, — писала Козлова, — когда действие перестает ориентироваться на представление о дей-

являются одинаковыми по всему миру, которую продолжают защищать фундаменталисты Просвещения, не находит себе подтверждения в истории. Подобно многим надеждам, завещанных нам Просвещением, она отбрасывает от себя призрачную тень монотеизма» (Gray, 2000: 24). Ему вторит ведущий социальный теоретик современности Ч. Тейлор. По его словам, «если определять современность на уровне институциональных изменений, таких, как распространение современного бюрократического государства, рыночной экономики, науки и техники, то легко питать иллюзии насчет того, что современность — это единый процесс, который обречен происходить везде в одних и тех же формах, и вести наш мир к конвергенции и единообразию». Напротив, как подчеркивает Ч. Тейлор, сегодня «мы должны говорить о „многообразных современностях“, то есть о различных путях и способах возникновения и бытования институциональных форм, которые являются совершенно необходимыми для современности» (Taylor, 2004: 195). Достоинство подхода Тейлора к анализу культурных противоречий современности заключается в том, что институциональному подходу к исследованию современности, который послужил теоретической основой для разнообразных теорий модернизации, он противопоставляет культурно-цивилизационный подход, основанный на изучении социального воображаемого (social imaginary) как современного Запада, так и досовременных обществ (Taylor, 1995).

ственности данного социального порядка. Любой порядок кристаллизуется, когда возникает и постоянно воспроизводится вера в такую действенность. Своими действиями актеры социальной драмы воспроизводят и изменяют сами условия действия. Свойства социальной системы лишь в ограниченной степени зависят от сознания и воли индивидов. Однако направленность социальных процессов не может не быть вызвана повседневными действиями, повседневными решениями множества рядовых социальных агентов, их активностью. Иначе общество попросту не могло бы существовать» (Козлова, 2005: 21–22). В рамках модели советского общества как непреднамеренного социального изобретения классические социально-теоретические подходы (в частности, теория социального порядка М. Вебера) вступают в сложный теоретический симбиоз с постклассическими социальными теориями Н. Элиаса, М. Фуко, М. де Серто и П. Бурдьё. На кону в данном случае стоит поиск адекватных мыслительных моделей и общей теоретической рамки понимания взаимоотношений между индивидом и обществом. Все эти конфигурации социально-теоретического знания в их сочетании друг с другом работают на «переосмысление советского общества как цивилизации, как *социального изобретения*» (Козлова, 2005: 475). Неотъемлемой составляющей такого переосмысления советского общества становится переосмысление представлений о *выживании*. Суть его заключается в том, что «выживание» в советском обществе, прежде всего сталинской эпохи, перестает пониматься как исключительно существование «на элементарном уровне». Вместо него происходит переход к пониманию выживания как воспроизводства — и социальной системы в целом, и гомологичных ей социальных и человеческих типов. Наше теоретическое мышление сможет полностью овладеть социальным опытом советского прошлого только в том случае, если оно осуществит этот переход от одного круга представлений о выживании к другому.

Характеристика советского общества как социального изобретения вовсе не подразумевает, что это общество, его институты, социальные установления, ритуалы и практики изобретены каким-то конкретным человеком или отдельными группами людей. Речь идет о том, что в процессе совместной жизни людей благодаря взаимодействиям между ними возникает функциональная сеть взаимозависимых индивидов, которая движется в определенном направлении и обладает своими собственными закономерностями, которые — в качестве специфических закономерностей отношений между отдельными людьми — никто конкретно не определяет. Это фундаментальное сочленение взаимозависимых функций, структура и схема которого придает человеческому объединению его специфический характер, не есть творение отдельных индивидов. В этом смысле советское общество как социальное изобретение — это побочный продукт, не имеющий автора и являющийся непреднамеренным результатом функционального переплетения отношений и взаимодействий между отдельными индивидами.

Как уже было отмечено выше, понятие социального изобретения тесно связано с понятием и метафорой «игры». Обращение к понятию и метафоре «игры» дает

возможность понять советское общество как общую игру по определенным правилам, в которую играли люди разного социального происхождения, обладавшие разными стартовыми ресурсами, т. е. разными объемами и формами капитала. Использование понятия и метафоры игры позволяет исследователю объяснить, как в одном игровом пространстве и по одним правилам начинают действовать люди, разительно друг на друга непохожие. Важнейшей особенностью игры в советское общество, по Козловой, было то, что исходно эта игра не имела готовых правил: правила изобретались на ходу игроками, причем то, какие правила получали права гражданства в игре, зависело от подвижного баланса или балансов властных отношений, складывавшихся между различными участниками игры в ее процессе. Такая теоретическая рамка видения советского общества позволяет перейти от его рассмотрения через призму модели системы тоталитарного господства к его рассмотрению через призму модели социальной грамматики, очерчивающей общее игровое пространства и задающей правила игры в советское общество. Эти правила были разными на разных этапах его истории и для разных категорий игроков. Теоретическая концептуализация этих правил только начинается, и она составляет совершенно особую задачу. Более того, напрашивается предположение, что подобные правила эксплицитно формулируются лишь *post factum*, когда игра уже завершена, и притом не самим игроками, а социальным исследователем, изучающим эти былые игры в определенное общество с позиций сегодняшнего дня. Иными словами, «существовавшую систему правил игры в советском обществе мы начинаем описывать достаточно внятно только сейчас, когда игра уже закончилась» (Козлова, 2005: 71).

Использование понятия «игра» для осмысления истории советского общества влечет за собой еще и переосмысление характера взаимодействия между её участниками. Оно связано с отказом от представления о рационально действующем субъекте и требует его замены на понятие «актора» или «актера», которое, подобно понятию «игра», ориентировано на объяснение социальной деятельности людей, не отличающейся целерациональностью. В рамках такого типа «плотного описания» (К. Гирц) социальной реальности не остается места для понятия человеческого «Я», независимого от занимаемых им конкретных социальных позиций. То же самое касается и использования понятия «функция», которое при анализе функциональных сплетений отношений и взаимодействий между индивидами целесообразно использовать не в субстантивном качестве (функция для общества), а только в реляционном, в качестве атрибута отношений между людьми.

Советскую цивилизацию Козлова определяет как цивилизацию слов или игры слова на том основании, что ее основной цивилизационный код имеет вербальный характер. Она называет его «комплексом „Искры“» в память о нелегальной партийной газете большевиков. Комплекс «Искры» диктуется разделяемой как элитой, так и массой советского общества беззаветной верой в безграничную силу печатного слова. Игру в слова в советском обществе можно трактовать как приобщение к прецедентным текстам эпохи и их воспроизводство в дискурсивных

практиках. Для советского человека сталинской эпохи такие прецедентные тексты — это прежде всего тексты марксистско-ленинской идеологии и официальной «соцреалистической» литературы. Если их знание служит критерием культурной компетенции, то их незнание есть предпосылка отверженности и исключения из общества, по крайней мере из его привилегированных слоев.

Согласно Козловой, в советском обществе сталинской эпохи вербальное письмо становится не только принципом организации социальной иерархии, но и условием выделения из массы нового социального слоя — *советского среднего класса*. Письмо, будучи образцом опосредованного опыта, позволяет проследить процессы как становления и конструирования социальной идентичности советских людей, так и установление базовых социальных связей. Определяющую роль в этих поисках новой социальной идентичности играет освоение правил и навыков нормативного идеологического письма. Участие выходцев из «низов» советского общества в новых языковых риторических играх как элемент новых практик ведет к смене их *габитуса* и обретению нового социального положения в обществе. При этом в противоположность широко распространенным представлениям, Козлова доказывает, что тот язык, который многие исследователи советского общества определяют как «тоталитарный», обладал потенциалом высвобождения и складывания новой субъектности. Первостепенное место, которое печатное слово занимало в советской культуре, Козлова связывает с просветительской ориентацией советской власти.

Просветительская политика большевиков, — писала Козлова, — ставила целью преобразование общества на основе приобщения масс к письму, чтению, печати. Однако технология письма и печати в принципе элитарна, она не может приобщить всех». В этом Козлова усматривает одно из коренных противоречий советской культуры с ее установкой на всеобщее просвещение. Недаром, замечает она, «успешно овладевшие практикой письма составляли отнюдь не *маргинализованную массу*, но советский средний класс. (Козлова, 2005: 482–483)

В социальном конструировании принципов организации советского общества, а также начал видения, деления и классификации присущей ему социальной реальности огромную роль играл идеологический язык. Цивилизация модерна немислима без абстрактных систем, организующих взаимодействие между людьми на больших диапазонах пространства и времени. Отличительной чертой советского общества сталинской эпохи является то, что в нем идеологический легитимирующий дискурс в виде марксистско-ленинской идеологии и централизованный аппарат государственного насилия имели преобладающее значение в установлении социального порядка и социальных связей между людьми. Идеологический язык не только переописывает мир, реорганизуя его в терминах действия, но и внушает определенные классификации и формы восприятия и оценки, которые

имеют хождение как в привилегированных, так и в непривилегированных слоях советского общества.

Правда, говоря о роли идеологического языка в производстве и воспроизводстве советского общества, не стоит забывать и о том, что его на первый взгляд безраздельная гегемония в обществе подкреплялась деятельностью государственного аппарата насилия, той самой «машины террора», которая в периоды отсутствия доклического согласия в совместной жизни «советских людей» силой вбивала в их сознание и тело формы мышления и классификации «нового мира», перемалывая при этом в своих жерновах как тех, кто действительно был «не согласен», так и тех, кто искренне играл в игру под названием «советское общество». Некоторым из тех, кто попал в эти жернова, посчастливилось выжить, однако зачастую ценой такого счастливого искупления становилось превращение героя в человека-призрака, «битого жизнью» — еще одно неподражаемое выражение родом из сталинской эпохи, — со встроенной «языковой машинкой» внутри, позволявшей ее обладателю безошибочно точно реагировать на импульсы и сигналы, исходящие от властных инстанций.

В рамках советского модерна основой нормативно-когнитивных структур повседневности выступает государство-партия. «Государство имеет способность и возможность налагать и внедрять универсальным способом, в пределах заданной территории, закон, принцип видения и деления, соответствующие когнитивные структуры и структуры оценки» (Козлова, 2001: 222). Иными словами, нормативно-когнитивная карта восприятий и оценки советского человека сталинской эпохи формировалась под преобладающим влиянием советского государства-партии и его идеологических и культурных институтов и посредников. Обычные формы классификации в советском обществе — это государственные формы. Они воспринимаются советскими людьми как естественная данность. Государство здесь выступает основанием молчаливого дорефлексивного согласия относительно смыслового значения мира, которое составляет основу повседневного опыта мира как мира здравого смысла. В этом теоретическом поле складываются предпосылки для исследования режимов функционирования символической власти в рамках советского общества, в особенности тех ее аспектов, которые сопряжены с превращением символической власти во власть конститутивную, т. е. во власть создавать новую социальную реальность при помощи слов, используемых для обозначения или описания индивидов, групп или институтов.

Наконец, — *the last but not the least*, — мы никогда не поймем, почему спор о советском модерне принял сегодня столь острый характер, если при его обсуждении останемся исключительно на теоретической почве. По вопросу советского прошлого и в академических кругах, и в российском обществе в целом в последние десятилетия всегда шла ожесточенная символическая борьба, ставки в которой были необычайно высоки. Споры по поводу советского наследия не утихают и сегодня, сохраняя при этом когда ярко выраженную, а когда — завуалированную идеологическую окраску. Хотя эти споры не имеют прямого отношения к теоретическому

осмыслению и освоению советского прошлого, они, тем не менее, представляют собой ставки особого значения в символической борьбе различных фракций внутри доминирующего класса современной России. На кону в этой символической борьбе стоит изменение властного баланса сил. Хотя на первый взгляд тяжба идет о советском прошлом, настоящей ставкой здесь является российское будущее. Поэтому без учета значения и масштаба этой символической борьбы характеристика современных дебатов по поводу истории советского общества была бы неполной.

Такова лишь небольшая часть того круга проблем и вопросов, с которыми сталкивается сегодня социально-научное исследование «советского прошлого», в изучение которого, по нашему глубокому убеждению, открытия и новации, оформившиеся в рамках проекта исследования «советского человека» Н. Н. Козловой, способны внести свой достойный вклад. Еще раз оговоримся, что в данном случае речь идет именно об общей теоретической рамке, то есть об определенном видении истории советского общества, концептуальные и эвристические достоинства и недостатки которой заслуживают дальнейшего обсуждения. Представляется, что для выработки адекватного взгляда на историю советского общества внимательное чтение работ Н. Н. Козловой может и сегодня дать немало ценных указаний и теоретических ориентаций не только нынешним, но и будущим исследователям советского «прошлого».

Литература

- Баберовски Й.* (2007). Красный террор: история сталинизма / Пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. М.: РОССПЭН.
- Баберовски Й.* (2014). Выжженная земля: сталинское царство насилия / Пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. М.: РОССПЭН.
- Бурдые П.* (1994). Назначение «народа» // *Бурдые П.* Начала / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos. С. 222–230.
- Вебер М.* (1990). Основные социологические понятия / Пер. с нем. М. И. Левиной // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 602–643.
- Гидденс Э.* (2010). Последствия современности / Пер. с англ. Г. К. Ольховикова и Д. А. Кибальчича под ред. Т. А. Дмитриева. М.: Праксис.
- Козлова Н. Н.* (2005). «Советские люди»: сцены из истории. М.: Европа.
- Козлова Н. Н.* (2007). Социальная философия // *Губин В. Д., Сидорина Т. Ю.* (ред.). Философия. М.: Гардарики. С. 455–482.
- Лиотар Ж.-Ф.* (1998). Состояние постмодерна / Пер. с франц. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя.
- Суровцева Е. В.* (2008). Жанр «письма вождю» в тоталитарную эпоху (1920-е — 1950-е гг.). М.: АИРО-XXI.
- Суровцева Е. В.* (2010). Жанр «письма вождю» в советскую эпоху (1950-е — 1980-е гг.). М.: АИРО-XXI.

- Фейхтвангер Л.* (1990). Москва. 1937 // Два взгляда из-за рубежа. М.: Политиздат. С. 164–259.
- Фитцпатрик Ш.* (2001). Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е годы: город / Пер. с англ. Л. Ю. Пантиной. М.: РОССПЭН.
- Хобсбаум Э.* (2004). Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914–1991) / Пер. с англ. Е. М. Нарышкиной и А. В. Никольской. М.: Независимая Газета.
- Элиас Н.* (2001). Общество индивидов / Пер. с нем. А. А. Антоновского, А. И. Круглова, А. В. Иванченко. М.: Праксис.
- Юрчак А.* (2016). Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение.
- Яковлев А. Н.* (ред.). (2005). Сталин и космополитизм. 1945–1953: Документы Агитпропа ЦК. М.: МФД, Материк.
- Arendt H.* (1951). *The Origins of Totalitarianism*. New York: Schocken Books.
- Aron R.* (1965). *Démocratie et Totalitarisme*. Paris: Gallimard.
- Berger P. L.* (1977). *Toward a Critique of Modernity* // *Berger P. L. Facing Up to Modernity: Excursions in Society, Politics and Religion*. New York: Basic Books. P. 70–80.
- David-Fox M.* (2015). *Multiple Modernities vs. Neo-Traditionalism: On Ongoing Debates in Russian and Soviet History* // *David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. P. 21–47.
- Eisenstadt S. N.* (2000). *Multiple Modernities* // *Daedalus*. Vol. 129. № 1. P. 1–29.
- Elias N.* (2006). *Was ist Soziologie?* Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fainsod M.* (1958). *Smolensk under Soviet Rule*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fitzpatrick S.* (1979). *Education and Social Mobility in Soviet Union, 1921–1934*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fitzpatrick S.* (1982). *The Russian Revolution, 1917–1932*. Oxford: Oxford University Press.
- Fitzpatrick S.* (1992). *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fitzpatrick S.* (2008). *The Russian Revolution*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedrich C. J., Breziński Z. K.* (1956). *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gayer M., Fitzpatrick S.* (eds.). (2009). *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gray J.* (2000). *Two Faces of Liberalism*. New York: New Press.
- Inkeles A., Bauer R.* (1959). *The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kotkin S.* (1995). *The Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley, London: University of California Press.
- Loewenstein K.* (1957). *Political Power and the Governmental Process*. Chicago: Chicago University Press.
- Radcliff-Brown A. R.* (1948). *Natural Science of Society*. Glencoe: The Free Press.

- Taylor C.* (1995). Two Theories of Modernity // Hastings Center Report. Vol. 25. № 2. P. 24–33.
- Taylor C.* (2004). Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press.
- Touraine A.* (1988). Modernity and Cultural Specificities // International Social Science Journal. № 118. P. 443–457.
- Walder A. G.* (1986). Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press.

Rewriting the Soviet Past: On the Research Program of Natalya Kozlova's "Study of the Soviet Man"

Timofey A. Dmitriev

Associate Professor, Faculty of Humanities, National Research University High School of Economics

Address: Myasnitskaya str. 20, 101000 Moscow, Russian Federation

E-mail: tdmitriev@hse.ru

The article attempts to outline new theoretical approaches to the study of the Soviet past, based on the cultural-anthropological research program of "the Soviet man" as proposed by N. N. Kozlova. Our assumption is that, in the implementation of her research program, Kozlova was trying to solve a double problem: on the one hand, to overcome the ideological framework posed by the concept of totalitarianism as the basic model of understanding Soviet society, and on the other, to understand Soviet society as an unintended social invention. In the framework of the model of Soviet society as an unintended social invention, classical social-theoretical views and conceptions enter into a complex theoretical alliance with the postclassical social theories of Norbert Elias, Michel Foucault, Michel de Certeau, and Pierre Bourdieu. The purpose of this strategy of research is to find adequate intellectual models and a basic theoretical framework for understanding the relationship between the individual and society. The qualification of the Soviet society as a social invention implies that a functional interdependent network of individuals arises in the course of common life of the individuals from the interactions between them. This network moves in a certain direction and has its own regularities, which, as specific patterns of relations between individuals, is not defined exactly by any one individual. The role of the basic model for the understanding of such a functional network of interdependent individuals does not play the model of the system, but the model of the common game and the social grammar, which is at the core of this game. Special attention is paid to the assessment of the heuristic potential of Kozlova's hypothesis of Soviet civilization as a special type of modern society, and its importance for the studies of Soviet society and culture.

Keywords: Soviet studies, Soviet society, homo soveticus, social identity, N. Kozlova, cultural-anthropological research

References

- Arendt H. (1951) *The Origins of Totalitarianism*, New York: Schocken Books.
- Aron R. (1965) *Démocratie et Totalitarisme*, Paris: Gallimard.
- Baberowski J. (2007) *Krasnyj terror: istorija stalinizma* [The Red Terror: A History of Stalinism], Moscow: ROSSPEN.

- Baberowski J. (2014) *Vyzhzhennaja zemlja: stalinskoe carstvo nasilija* [The Scorched Earth: The Stalinist Realm of Violence], Moscow: ROSSPEN.
- Berger P. L. (1977). *Toward a Critique of Modernity. Facing Up to Modernity: Excursions in Society, Politics and Religion*, New York: Basic Books, pp. 70–80.
- Bourdieu P. (1994) *Nachala* [Beginnings], Moscow: Socio-Logos.
- David-Fox M. (2015) *Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Eisenstadt S. N. (2000) Multiple Modernities. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 1–29.
- Elias N. (2001) *Obshchestvo individov* [The Society of Individuals], Moscow: Praxis.
- Elias N. (2006) *Was ist Soziologie?*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fainsod M. (1958) *Smolensk under Soviet Rule*, Cambridge: Harvard University Press.
- Feuchtwanger L. (1990) *Moskva. 1937* [Moscow. 1937]. *Dva vzgljada iz-za rubezha* [Two Views from Abroad], Moscow: Politizdat, pp. 164–259.
- Fitzpatrick S. (1979) *Education and Social Mobility in Soviet Union, 1921–1934*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fitzpatrick S. (1982) *The Russian Revolution, 1917–1932*, Oxford: Oxford University Press.
- Fitzpatrick S. (1992) *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Fitzpatrick S. (2001) *Povsednevnyj stalinizm: social'naja istorija Sovetskoj Rossii v 30-e gody: gorod* [Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s], Moscow: ROSSPEN.
- Fitzpatrick S. (2008) *The Russian Revolution*, Oxford: Oxford University Press.
- Friedrich C. J., Brezinski Z. K. (1956) *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge: Harvard University Press.
- Gayer M., Fitzpatrick S. (eds.) (2009) *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens A. (2010) *Posledstvija sovremennosti* [The Consequences of Modernity], Moscow: Praxis.
- Gray J. (2000) *Two Faces of Liberalism*, New York: New Press.
- Hobsbawm E. (2004) *Jepoha krajnostej: rorotkij dvadcatyj vek (1914–1991)* [The Age of Extremes: 1914–1991], Moscow: Nezavisimaja gazeta.
- Inkeles A., Bauer R. (1959) *The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society*, Cambridge: Harvard University Press.
- Kotkin S. (1995) *The Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Kozlova N. (2005) *Sovetskie ljudi: sceny iz istorii* [The Soviet People: Scenes from History], Moscow: Evropa.
- Kozlova N. (2007) *Social'naja filosofija* [Social Philosophy]. *Filosofija: Uchebnik* [Philosophy: A Textbook] (eds. V. Gubin, T. Sidorina), Moscow: Gardariki, pp. 455–482.
- Loewenstein K. (1957) *Political Power and the Governmental Process*, Chicago: Chicago University Press.
- Lyotard J.-F. (1998) *Sostojanie postmoderna* [The Postmodern Condition], Saint Petersburg: Aleteija.
- Radcliff-Brown A. R. (1948) *Natural Science of Society*, Glencoe: The Free Press.
- Surovtseva E. (2008) *Zhanr "pis'ma vozhdju" v totalitarnuju jepohu (1920–1950 gody)* [The Genre of "Letters to the Leader" in the Totalitarian Era (1920–1950s)], Moscow: AIRO—XXI.
- Surovtseva E. (2010) *Zhanr "pis'ma vozhdju" v sovetskiju jepohu (1950–1980 gody)* [The Genre of "Letters to the Leader" in the Soviet Era (1950–1980s)], Moscow: AIRO—XXI.
- Taylor C. (1995) Two Theories of Modernity. *Hastings Center Report*, vol. 25, no 2, pp. 24–33.
- Taylor C. (2004) *Modern Social Imaginaries*, Durham: Duke University Press.
- Touraine A. (1988) Modernity and Cultural Specificities. *International Social Science Journal*, no. 118, pp. 443–457.
- Walder A. G. (1986) *Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry*, Berkeley: University of California Press.
- Weber M. (1990) *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress.

- Yakovlev A. (ed.) (2005) *Stalin i kosmopolitizm. 1945–1953: dokumenty Agitpropa CK* [Stalin and Cosmopolitanism, 1945–1953: Documents of the Agitprop of the Central Committee], Moscow: MFD, Materik.
- Yurchak A. (2016) *Yeto bylo navsegda, пока не konchilos': poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever, Until: The Last Soviet Generation], Moscow: New Literary Observer.